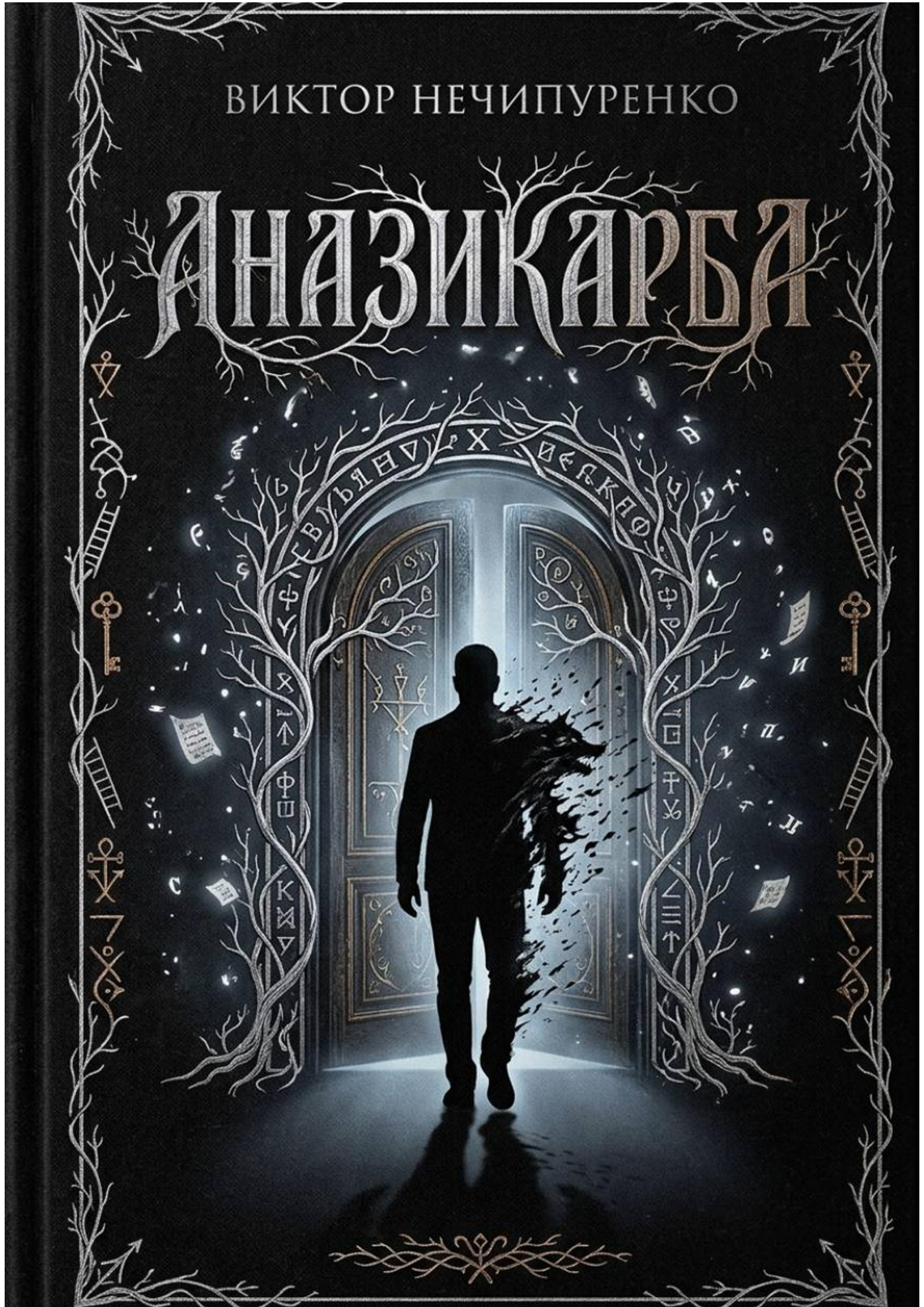
ВИКТОР НЕЧИПУРЕНКО

# АНАЗИКАРБА



Виктор Нечипуренко

# Аназикарба

«Автор»
2026

**Нечипуренко В. Н.**

Аназикарба / В. Н. Нечипуренко — «Автор», 2026

Это книга о людях, которые пытаются удержать ускользающее: имя, любовь, память, тело, смысл. Здесь переводчик обнаруживает в себе зверя; женщина, нанятая изображать скорбь, встречает собственное горе; буквы врастают в серебро, а изображение начинает распоряжаться тем, кто его создал. В этих рассказах невозможное имеет распорядок и цену. Люди исполняют обряды, создают языки, ищут утраченных, проходят двери и пороги — и постепенно понимают, что переход меняет не только путь, но и того, кто идёт. От частных историй любви и утраты книга ведёт к мифам, словарям и записям посвящённых. Рассказы перекликаются, меняя смысл уже прочитанного: освобождение одного героя оборачивается участью другого, а за дверью, которую удалось открыть, кто-то давно ждёт своей очереди.

© Нечипуренко В. Н., 2026
© Автор, 2026

# Содержание

Часть I. Лишняя ступень 6
Лишняя ступень 6
Формы скорби 10
Подвал господина Ликуреску 15
Люсьен Фурнье 18
Август 22
Записки о том, чего не было 26
Старик-моховик 28
Переводчик зверя 34
Часть II. Право на имя 44
Бронзовые зеркала 44
Собственная поступь 47
Суд над судьёй 50
Конец ознакомительного фрагмента. 51

# Виктор Нечипуренко
# Аназикарба

**О названии книги**

«Аназикарба» звучит так, словно это слово уже существовало — только язык, которому оно принадлежало, забыт. Его можно принять за женское имя, название исчезнувшего города или начало заклинания. В нём слышится обещание смысла, но ни одно толкование не вмещает его целиком.

У этого названия нет установленной этимологии. Однако у слова может быть не только происхождение, но и окружение: другие слова, которые отзываются в нём, хотя и не приходятся ему родственниками. Именно так следует понимать дальнейшие сближения — не как перевод с утраченного языка, а как несколько способов расслышать название.

Первым в нём возникает «ана-». В греческом этот элемент связан с движением вверх, назад, с повторением и возвращением. Он входит в слово «анамнезис» — припоминание, возвращение в память. В платоновской философии так называется припоминание знания, обретённого прежде. Рядом можно поставить «анагнорисис» — узнавание: момент, когда прежде неизвестное становится известным.

Для «Аназикарбы» это не расшифровка, но направление: назад, к чему-то уже бывшему; вновь, к чему-то ещё не узнанному. Возвращение не обязательно ведёт в знакомое место. Иногда приходится вернуться, чтобы впервые понять, где ты находился.

В середине слова можно расслышать отзвук «зикра» — арабского слова со значением поминания, воспоминания. В его окончании — созвучие с арабским *karb*: скорбью, тревогой, тяготой. Эти слова не складываются в правильную арабскую фразу, и «Аназикарба» не переводится как «поминание скорби». Но такое соседство позволяет услышать в названии память о том, с чем человек ещё не сумел расстаться.

Есть и другое созвучие — Аназарб, древний город-крепость в Киликии, известный также под греческой формой названия «Аназарба». Близость звучания не доказывает родства, зато придаёт слову возможную географию: кажется, у него могли быть стены, ворота, дорога, по которой когда-то приходили люди.

Наконец, у «Аназикарбы» есть соседство среди слов-оберегов. В средневековых надписях и на амулетах встречается *ananizapta* — формула, которой приписывали защитную силу. Её толкования остаются спорными; достоверно известно прежде всего то, что люди её записывали и использовали как оберег. Ещё привычнее нам «абракадабра»: слово с долгой историей магического употребления, происхождение которого также не получило общепринятого объяснения.

«Аназикарба» не выдаёт себя за одно из этих древних слов. Но ей близка сама возможность такого существования: когда слово произносят раньше, чем понимают, и сохраняют дольше, чем могут объяснить.

Поэтому название этой книги не требует единственного перевода. В нём можно услышать возвращение, узнавание, поминание; можно различить имя или место. Здесь оно дано тому, что ещё не удаётся назвать иначе.

Остальное выяснится при чтении.

# Часть I. Лишняя ступень

## Лишняя ступень

По четвергам Париж казался Люсьену Дельмасу менее прочным, чем в остальные дни. Не то чтобы улицы становились мягче или дома начинали трещать; нет, внешне все сохраняло обычный вид. И все же по четвергам в окружающий мир входила едва заметная неровность, будто кто-то, выкраивая его, дрогнул рукой.

Он служил в страховом обществе на улице Реомюр и вел жизнь человека, который слишком давно доверился порядку. Ручки всегда стояли справа, пресс-папье — слева, бумажный нож лежал строго вдоль края стола; ботинки он ставил у кровати носками к двери, а хлеб резал тонкими ломтиками, испытывая почти телесное удовлетворение, когда нож шел ровно. До тридцати девяти лет ему казалось, что именно в этом — пусть не счастье, но по крайней мере приличие существования: ничего не ждать от небес, не заглядывать слишком далеко вперед и не придавать значения тем минутам, когда воздух вдруг становился другим и в лице человека, сидящего напротив, проступало что-то не вполне объяснимое.

Потом на третьем этаже поселилась Жюльетта Варенн.

В первый раз он увидел ее на лестнице в ноябре, поздним вечером, когда в подъезде было немного накурено. Она спускалась медленно, не держась за перила, и в ее движении было что-то такое, от чего Люсьен остановился на нижней площадке, забыв, зачем вообще вышел. Не красота — он и позже не сумел бы назвать ее красивой в расхожем смысле: рот чуть великоват, нос тонкий, но с упрямой линией переносицы, волосы убраны слишком просто для молодой вдовы. Но ступала она так, словно каждый шаг не уничтожал предыдущий, а брал его с собой; тело ее не заменяло одно положение другим, а складывало их рядом, как музыкант накладывает аккорды, и от этого лестница на мгновение делалась длиннее.

С тех пор он начал замечать, что и четверги сделались длиннее.

В тот вечер, с которого все пошло быстрее, дождь мелко накрапывал, и газеты в киоске немного отсырели. Люсьен вошел в кафе на углу, заказал черный кофе и развернул газетный лист с научной хроникой. Он читал такие заметки не из любознательности и не из тщеславного желания понимать ученых; они действовали на него почти как лекарство. После восьми часов страховок, вдовьих рент и расчетов несчастных случаев ему было необходимо хоть раз в неделю коснуться чего-то, что не поддавалось бухгалтерии.

В заметке говорилось о крошечной частице, живущей так недолго, что человеческий разум не мог по-честному назвать это сроком, и все-таки живущей дольше своих сородичей; о другом опыте, где два почти одинаковых порождения материи вели себя не как послушные близнецы, а как дети из одной семьи, давно переставшие любить друг друга; и, наконец, о небесных телах, которые, если верить расчетам, могли состоять из вещества, способного при встрече с нашим миром исчезнуть вместе с ним в одном ослепительном объятии. Люсьен дочитал до конца, поднял глаза и увидел в запотевшем стекле кафе не собственное лицо, а только расплывчатый овал лампы над стойкой.

— Вы опять читаете свои ужасы? — спросил за соседним столиком господин Бриссо, преподаватель риторики, аккуратный человек с маленькими усами и тусклым золотым кольцом. — У меня бы от таких известий аппетит пропал. Ведь у меня сегодня ужин в обществе любителей версификации.

Он сказал это с благодушием человека, которого мир еще ни разу всерьез не задел за живое. Люсьен машинально улыбнулся, сложил газету и вдруг подумал: ведь, может быть, весь порядок держится лишь на том, что таким, как Бриссо, всегда подадут вовремя начищенные

ботинки и теплый шарф, пока другие читают о звездах, готовых уничтожить все на свете одним прикосновением.

Возвращаясь домой, он увидел полоску света под дверью квартиры Жюльетты. Сердце у него болезненно дернулось — так бывало всегда, когда он догадывался, что она не спит. Через минуту раздался осторожный стук.

— Мсье Дельмас, — сказала она, когда он открыл. — Простите. У вас не найдется свежей газеты?

На ней было серое платье, и от ее рукавов пахло ирисовой пудрой. В волосах застряла крохотная дождевая капля; он увидел ее так ясно, будто вся лестница, вся стена, весь дом существовали лишь для того, чтобы эта капля удержалась еще одну секунду у самого виска.

— Конечно, — ответил он слишком поспешно. — Если хотите… я могу занести.

Она помедлила, всматриваясь в него с тем выражением, которое всегда сбивало его с толку: не застенчивость, не просьба, скорее странная внимательность, словно она сверяла его с каким-то внутренним образцом.

— Тогда зайдите на минуту. Мне одной сегодня не по себе.

В комнате у нее горела всего одна лампа под абажуром цвета слоновой кости. На столике рядом с книгой лежал лимон, уже начавший покрываться буроватыми пятнами. Возле камина стояла узкая ваза с сухими ветками.

— Это дурная привычка моего мужа, — сказала Жюльетта, заметив его взгляд. — Он любил держать фрукты до той минуты, когда в них проступало будущее. Говорил, что звезды стареют так же наглядно, просто мы слишком нетерпеливы.

Она произнесла слово «муж» спокойно, без вдовьей чопорности и без вызова. Арман Варенн умер два года назад в обсерватории под Медоном; кто-то говорил — от разрыва сосуда, кто-то — от бессонницы, кто-то прибавлял еще что-то о ночных опытах, после которых он будто бы перестал различать, где кончается небо и начинается грязь под ногтями.

Жюльетта взяла у Люсьена газету, быстро нашла нужную колонку и стала читать вслух.

— Послушайте, — сказала она. — «Вселенная, вероятно, возникла не из строгого равенства, а из едва заметного перевеса…» Арман говорил почти то же самое, только намного проще. Он сказал: «Жюльетта, если бы все было честно поделено, нас бы не случилось».

Она улыбнулась, однако тут же отвела глаза. Люсьен почувствовал, как внутри у него поднимается одновременно нежность и ревность — чувство настолько унизительное, что он даже слегка покраснел. Значит, и здесь, в этой комнате, где лампа подчеркивала изгиб ее щеки, где лимон дышал медленной порчей, где за стеной кто-то глухо кашлянул, между ним и ею по-прежнему стоял покойник. И покойник этот был не из тех, кого выносят на кладбище и оставляют там; он вмешивался в разговор, находился в предметах, в манере Жюльетты наклонять голову, в самом выборе газетной колонки.

— Вы его любили? — спросил Люсьен и в ту же секунду возненавидел себя за прямоту.

Она не обиделась.

— Да, — сказала она. — Но не всегда одинаково. Сначала за ум. Потом за руки. Потом за то, что он иногда замолкал на полуслове и смотрел на хлебную крошку так, будто ждал от нее какого-то признания. А в последние месяцы… — она провела пальцем по газете. — В последние месяцы я любила в нем его неровность. До болезни он был очень цельный человек. Потом в нем появилось смещение. Он мог посреди ужина сказать: «Посмотри, Жюльетта, мир удержался только потому, что одна чаша весов вела себя неблагородно». И мне становилось страшно. И жалко. И почему-то легче дышать.

Люсьен хотел ответить, но она уже поднялась.

— Пойдемте со мной завтра в Медон, — сказала она. — Мне нужно забрать одну вещь из башни. Я не была там с похорон. Одной мне туда не подняться.

На следующий день небо над пригородом было сизое, как дешевые театральные кулисы. В поезде Жюльетта почти не говорила; она сидела напротив, сцепив пальцы, и лишь однажды, когда вагон качнуло, непроизвольно коснулась его колена. Люсьену показалось, будто от этого касания весь его тщательно устроенный внутренний уклад рассыпался без шума, как карточный домик, сложенный слишком сухими пальцами.

Служитель отпер дверь башни молча и оставил их одних. Винтовая лестница уходила вверх, и Жюльетта ступила на нее первая.

Тогда и случилось то, что потом Люсьен вспоминал не как событие, а как длительное внутреннее содрогание. На каждом повороте лестницы через маленькое окно входил узкий луч дневного света, и всякий раз, когда Жюльетта пересекала этот свет, ее движение дробилось на последовательные части ее облика: вот рука на перилах, вот приподнятое плечо, вот каблук над ступенью, вот затылок, где висела тонкая прядь волос.

Он остановился, вцепившись в перила.

— Вам дурно? — донесся сверху ее голос.

— Нет… да… не знаю.

Она спустилась на две ступени и посмотрела на него сверху вниз.

— Арман говорил, что движение говорит о человеке больше, чем лицо, — сказала она.

Наверху, в круглом помещении под куполом, находилась длинная труба телескопа. Жюльетта подошла к столу, выдвинула ящик и вынула сверток, перевязанный черной лентой. Потом, поколебавшись, развязала его. Внутри лежало несколько листов, исписанных быстрым неровным почерком. Люсьен увидел цифры, кривые, заметки на полях и одну фразу, выделенную особенно сильно: существует не равновесие, а милость смещения.

Жюльетта молчала так долго, что у него пересохло во рту.

— Я позвала вас не только за тем, чтобы вы помогли мне донести бумаги, — сказала она наконец. — Мне нужно было понять одну вещь. Когда читаешь такие статьи, когда смотришь на эти приборы, кажется, будто мир слишком велик для человеческой любви. А потом кто-то кладет на стол испорченный лимон, и ты понимаешь, что все, самое страшное, уже помещается у тебя под рукой. Я не знаю, чего я хочу, Люсьен. Избавиться от него или сохранить. Остаться верной ему или наконец стать неверной как следует. Мне казалось, здесь станет ясно, но здесь только холодно.

Она говорила спокойно, однако последнее слово дрогнуло, и тогда он шагнул к ней. Не решительно, не красиво, не как в романах, а неловко, почти сердито — человек, давно лишавший себя права на внезапность и вдруг переставший понимать, почему он должен продолжать это делать. Он взял ее за кисть.

Жюльетта не вырвала руку.

Где-то внизу хлопнула дверь. Люсьен стоял, держа ее запястье, и думал не о небесных телах, не об ученых, не о приличиях, а о том, что у ее левого мизинца чуть неровный ноготь, и именно из-за этой мелочи ему невозможно отступить.

Когда они возвращались в Париж, сверток лежал у Жюльетты на коленях. Она смотрела в окно, где вечерний пригород растворялся в мутном блеске огней. Уже у самого дома она сказала, не оборачиваясь:

— По четвергам мне всегда кажется, что у лестницы есть лишняя ступень. Сегодня вы тоже это заметили?

Люсьен хотел ответить «да», но только кивнул.

Ночью, уже раздетый, он долго сидел у кровати. И вдруг послышались шаги. Он открыл дверь.

На площадке стояла Жюльетта в темном домашнем платье. В руках у нее был тот самый лимон.

— Возьмите, — сказала она почти шепотом. — У меня в комнате от него слишком много неба.

И, протянув к нему руку с лимоном, она улыбнулась ему.

Люсьен взял лимон. Он хотел что-то сказать, но Жюльетта уже начала спускаться, и снова каждый ее шаг не исчезал, а жил еще миг, другой, третий — будто ночь, дом и сам воздух не решались выбрать для нее одну-единственную судьбу.

# Формы скорби

Влажный воздух Лигурии проникал даже сквозь плотно прикрытые ставни, и Вирджиния Маретти узнавала это по тому, как деревенели суставы пальцев. Раньше она могла за час прострочить подкладку пальто, не сбиваясь с ритма; теперь игла скользила мимо ткани, нить путалась, будто сопротивлялась, а складка на тяжёлом бархате снова и снова уходила в сторону.

Синьора Бальдассаре говорила, что платит ей за аккуратность, а не за то, чтобы она часами разглаживала один и тот же шов. Вирджиния молчала. Она давно привыкла, что слова других людей падают на неё, как медные монеты в жестяную кружку: звонко, но без внутреннего веса.

Доктор Ферретти советовал пить тёплую воду с лимоном и ложиться до заката. Молодые врачи всегда верят, что тело — это механизм, который можно починить, если вовремя подкрутить винты. Вирджиния же знала: тело — это комната, в которой постепенно гаснет свет, и никто не приходит менять лампы.

Она жила в одной комнате с кухонной нишей. Каждый вечер она слушала, как вода капает из крана.

В тот ноябрьский вечер её позвали не шить.

Горничная Агата встретила её у чёрного входа палаццо и повела по узкому коридору, где стены были холодны даже на вид. Вирджиния уже бывала здесь: чинила занавеси, подшивала траурные платья, пришивала сорванные крючки к корсажам. Но теперь её провели дальше, в дальнюю галерею, куда прежде не пускали.

— Вам нужно только сидеть и следить, чтобы куклы не перепутались, — сказала Агата, проводя пальцем по родинке над губой. — Они старинные. Синьор коллекционирует формы скорби. Каждая одета в траур по разным десятилетиям. Не давайте нитям провисать. Если голова склонится слишком низко, подтяните латунное кольцо на планке. И не трогайте лица. Воск не любит тепла чужих рук.

Вирджиния давно перестала удивляться тому, что состоятельные люди покупают не предметы, а состояния.

Под потолком горела одна лампа, отбрасывая желтоватый круг на натёртый паркет. Куклы сидели на скамьях, обитых тёмным сукном; их стеклянные глаза смотрели в разные стороны, будто каждая вспоминала своё и не желала делиться воспоминанием с другими. Над ними уходили вверх тонкие нити. Некоторые были натянуты, некоторые провисали; от малейшего движения воздуха восковые головы чуть заметно покачивались.

Вирджиния устроилась на жёстком стуле, положила ладони на колени и стала ждать. Время в таких комнатах не течёт — оно оседает, как пыль на карнизах. Она чувствовала, как оно ложится на плечи: тяжёлое, но не давящее.

Дверь приоткрылась без стука.

Вошёл юноша в льняной рубашке, слишком лёгкой для сезона. Волосы его были светлые. Он шёл нетвёрдо, но не от вина — от какой-то внутренней расхлябанности.

— Вы здесь присматриваете? — спросил он, не глядя на кукол.

— Я Вирджиния Маретти, — ответила она и по привычке сложила руки так, чтобы не видно было дрожи.

Он кивнул, достал из кармана плоскую флягу, отвинтил крышку и протянул ей.

— Горькое. Травы, корень, цедра. От него не пьянеют, а просто становятся тише.

Она отпила. Жидкость обожгла горло, оставив послевкусие полыни.

Юноша сел рядом — не касаясь её, но достаточно близко, чтобы она чувствовала тепло его плеча.

— Нити всегда рвутся там, где их не видно, — сказал он. — Мы думаем, что держим, а на самом деле нас держат. Вы замечали? Чем крепче тянешь, тем быстрее дерево сдаётся.

Она не ответила. Ей хотелось спросить, кто он, почему бродит по чужому дому в такой час, почему говорит с ней так, будто продолжает разговор, начатый давно.

Он улыбнулся — легко, почти виновато, — и коснулся её запястья двумя пальцами. Кожа его была холодной, но прикосновение не оттолкнуло.

— Вы хорошая, — сказал он. — Такие, как вы, не спрашивают лишнего. Это редкость.

Потом он встал, покачнулся, будто вспомнил что-то важное, и вышел, оставив дверь приоткрытой.

Вирджиния сидела, глядя на флягу. Лампа под потолком потрескивала. Восковые куклы чуть заметно качались на своих нитях. И впервые за много лет ей показалось, что кто-то увидел не её руки, не её возраст, не её нужду, а просто её.

Через три недели синьор Бальдассаре пришёл к ней сам.

Он не снял пальто, хотя в комнате было душно. Палка его мерно ударяла по половицам, и каждый удар казался Вирджинии отсчётом чего-то неизбежного.

— Дело деликатное, — начал он, не поднимая глаз. — Не противозаконное. Моя супруга в курсе. Один из наших… знакомых умер. Молодой. Ремесленник. Стекло, воск, тонкая работа. Родни у него не осталось — только заказчики и те, кто ценил форму. Церемония должна выглядеть полной.

Он замолчал, будто подбирал слово, которое не испачкало бы просьбу.

— Скорбь требует свидетелей, — сказал наконец. — А свидетели требуют родства. Мы подумали, что вы могли бы присутствовать. Как тётка. Приехавшая из Умбрии. Вам не нужно говорить. Только сидеть. Вознаграждение — двенадцать тысяч. Три сейчас, остальное после.

Он выложил купюры на стол.

Вирджиния смотрела на них и думала не о деньгах, а о том, как странно устроен мир: чувства превращаются в услугу, которую можно заказать, как обед.

Она согласилась, потому что знала: отказываться от таких предложений — значит оставаться в комнате, где свет давно погас, а дверь заперта снаружи.

Люстры горели вполнакала, будто экономили сияние для другого случая. Вирджинию провели к креслу у изголовья.

Она не сразу узнала его.

Лицо было закрыто полупрозрачной тканью, но очерк носа, линия скул, даже то, как лежали руки, — всё было тем же. На табличке у гроба ровным каллиграфическим почерком было выведено:

Элио Вальдери.

Мастер воска и стекла.

Она села.

Кто-то подошёл, выразил соболезнования, пожал руку. Она кивала.

Слёзы пришли не сразу.

Сначала было только ощущение тяжести, будто кто-то положил ей на плечи мокрое пальто. Потом вспомнилось прикосновение двух пальцев к запястью. Потом — вкус полыни. Потом — то, как он сказал: «Вы хорошая», не ожидая ничего взамен.

И тогда горло сжалось.

Она заплакала.

Не для зала. Не для синьора Бальдассаре, который стоял у колонны и следил, чтобы всё шло по порядку. Она плакала потому, что впервые за десятилетия кто-то увидел её не как инструмент, а как человека.

Горе не спрашивало разрешения. Оно просто вошло, как сквозняк в приоткрытое окно, и заполнило всё, что было свободно.

В углу спорили двое.

Пожилой Лоренцо и юноша в тёмном сюртуке, с красными от бессонницы глазами.

— Ты не имел права решать за него, — шипел Лоренцо. — Он не был твоим.

— А чьим он был? — огрызнулся юноша. — Твоим заказчиком? Твоей витриной?

Синьор Бальдассаре подошёл, положил руку на плечо каждому, и спор угас, как огонь, накрытый стеклом.

У двери стояла девушка в сером платье. Она не плакала. Только смотрела на руки Вирджинии, сложенные на коленях. Когда их взгляды встретились, девушка чуть заметно опустила глаза.

Ночь тянулась медленно.

Окно в торце зала светлело: от чёрного к серому, от серого к бледно-розовому. Вирджиния не уходила. Ей хотелось сидеть рядом, пока не уберут ткань, пока не закроют крышку, пока не останется только память о том, как чужая рука на мгновение согрела её запястье.

Утром пришли священник, дамы в вуалях, мужчины с газетами под мышкой. Синьор Бальдассаре подошёл к ней, наклонился:

— Пора прощаться.

Она встала. Ноги одеревенели. Она шагнула к ложу, протянула руку — не чтобы коснуться, а чтобы убедиться, что воздух между ними ещё существует.

Кто-то мягко, но настойчиво отвёл её ладонь.

Она не сопротивлялась.

Слёзы высохли. Осталось только ощущение внутри: не лёгкое и не тяжёлое, а настоящее. Как камень в кармане, который не мешает ходить, но напоминает, что ты несёшь что-то своё.

Она вышла в коридор и не оглянулась.

Вирджиния вернулась домой. Купюры лежали на столе. Она не стала пересчитывать.

Пальцы сами потянулись к краю стола, где обычно стояла жестянка с пуговицами. Она попробовала взять иглу. Сталь скользнула мимо напёрстка, уколола подушечку пальца, и показалась капля крови.

Она вытерла палец о подол и отложила шитьё.

Дрожь в кистях не ушла, но изменилась: раньше она была от усталости, от холода, от годов; теперь напоминала натянутую струну, которую кто-то задел, не собираясь играть.

Утром она вышла на рынок.

Лотки стояли в привычном порядке: рыба на льду, чешуя переливалась, как битое стекло; зелень была перевязана бечёвкой; сыр, молоко. Вирджиния шла мимо, почти не останавливаясь. Люди говорили громко, торговались, смеялись, звали друг друга по именам. Взгляды скользили по лицам и тут же уходили дальше, словно боялись задержаться.

На похоронах все смотрели, но почти никто не видел.

Они видели роль, вуаль, правильную посадку, руки, сложенные как нужно. Только он тогда, в галерее, посмотрел иначе.

И этого оказалось достаточно, чтобы комната внутри неё, давно привыкшая к полумраку, вдруг вспомнила дневной свет.

В кармане пальто она нашла чёрную шёлковую нить.

Конец запутался в подкладке, должно быть, зацепился, когда она вставала с кресла в зале. Вирджиния вытащила её, намотала на указательный палец. Она потянула слегка. Нить ответила упругим сопротивлением.

Ещё немного — и она бы врезалась в кожу.

Вирджиния ослабила натяжение.

Нити рвутся от неравномерности, подумала она. От того, что одна сторона тянет, а другая только держит.

Вечером в дверь постучали.

На пороге стояла та самая девушка в сером платье. Теперь на ней было шерстяное пальто, волосы стянуты в тугой узел, глаза воспалённые.

— Марта, — сказала она, не переступая порога. — Я училась у него. Воск, стекло, тонкая работа.

Вирджиния молчала.

Девушка протянула деревянную шкатулку — тёмную, с потёртыми углами.

— Он оставил это. Не для заказчиков. Не для тех, кто приходил смотреть. Для той, кто сидела всю ночь и не смотрела на часы.

Она отдала шкатулку и ушла, не дожидаясь ответа.

Вирджиния поставила её на стол. Крышка открылась легко, без скрипа.

Внутри лежала небольшая фигурка из воска.

Не завершённая. Без лица. Только изгиб плеча, намёк на ладонь, лежащую на колене, и линия спины, уходящая в необработанную массу. Рядом — серебряный напёрсток, стёртый до матовости. С внутренней стороны темнел отпечаток чужого пальца, давно остывший.

Она взяла напёрсток.

Он наделся на средний палец плотно, будто ждал именно её.

Воск она трогать не стала. Только смотрела. Он не был похож ни на куклу из галереи, ни на заказную фигурку, ни на вещь, предназначенную для витрины. В нём было что-то остановленное на полпути — не слабость, а отказ притворяться завершённым.

Вирджиния села у окна.

Свет падал косо, рассеиваясь на пыльном стекле. Город за стеной жил своим ритмом: тележка гремела по брусчатке, где-то хлопали ставни, голос торговца выкрикивал цену на апельсины. Слова теряли смысл, превращались в звук, в фон, в ткань дня.

Она долго смотрела на восковую фигуру.

На похоронах они плакали не по нему, думала она. Они плакали по нарушенному порядку, по витрине, которая больше не будет обновляться, по отражению собственной хрупкости, которое он невольно держал перед ними.

Она плакала по другому.

По тому, как незнакомый человек на мгновение коснулся запястья и ничего не потребовал.

Вечером она зажгла свечу.

Чтобы смотреть, как пламя двигается по восковой фигуре. Свет не столько освещал её, сколько обводил контуры. Тень не скрывала форму — она проявляла её.

Вирджиния взяла иглу. Вдела чёрный шёлк. Не чтобы шить, а чтобы проверить, как звучит напряжение.

Она потянула.

Нить отозвалась почти неслышным звуком. Ещё немного — и она бы лопнула.

Вирджиния остановилась.

Некоторые вещи не нужно затягивать. Некоторые вещи нужно просто держать, пока они сами не найдут своё место.

Ночь темнела. Свеча оплывала. Воск стекал, застывал, менял очертания. У основания фигурки появилась маленькая лужица. Она твердела медленно, принимая случайную форму — произвольно возникшую от тепла и времени.

Вспомнились куклы в галерее, одетые в десятилетия чужой печали.

Вспомнились гости в зале, разыгрывающие скорбь, как пьесу, где каждый знает свою реплику, но никто не верит в текст.

Вспомнился Элио, сказавший: «Вы хорошая».

Она не знала, что он хотел этим сказать.

Смысл не всегда приходит как ответ. Иногда достаточно предмета в кармане, напоминающего, что ты несёшь что-то своё.

Она сняла напёрсток и положила его на подоконник.

Где-то далеко ударили в колокол.

Вирджиния закрыла глаза.

# Подвал господина Ликуреску

В тот год, когда река Олт поднялась так высоко, что затопила нижние улицы Сибиу и рыбы плавали в подвалах аптеки Зильбермана, — в тот самый год Ион Ликуреску перестал спать.

Не то чтобы совсем — он впадал в некое оцепенение на рассвете, минут на сорок, но это был не сон, а что-то похожее на провал в яму. Он выходил из этого состояния с ощущением, будто кто-то только что стоял у кровати, но не успел уйти, а просто перестал быть видимым.

Ликуреску было шестьдесят три года. Он владел усадьбой в семи километрах от города, на возвышенности, откуда в ясные дни можно было различить колокольню лютеранской церкви. Усадьбу эту он получил от отца, а тот — от деда, который, по семейному преданию, выиграл её в карты у венгерского барона, причём барон застрелился не из-за проигрыша, а из-за того, что во время игры Ликуреску-старший сказал ему нечто такое, чего барон не смог вынести. Что именно было сказано — никто не знал, но в семье считалось, что дед обладал даром произносить слова, которые действовали на людей физически, как ожог или удар.

Ион унаследовал этот дар лишь отчасти. Он не мог убивать словами, но умел вызывать у собеседника такое замешательство, что тот забывал, зачем пришёл, а иногда и собственное имя. Управляющий его Думитру Пэтрашку — мелкий человек, — говорил жене: «Когда господин смотрит на тебя и молчит, я предпочитаю, чтобы он кричал. Крик — это понятно. А молчание у него — как рука, которая шарит у тебя внутри».

Пэтрашку служил при усадьбе уже тридцать один год. Он пережил трёх жён Ликуреску — первая умерла при родах, вторая сбежала в Бухарест с офицером, третья просто угасла, как свеча в комнате без окон, — и видел вещи, о которых предпочитал не рассказывать даже на исповеди. Священник отец Николае однажды спросил его прямо: «Что он там делает, в подвале?» — и Пэтрашку ответил: «Читает». Это была правда, но такая маленькая её часть, что она воспринималась как ложь.

Ликуреску действительно читал. У него была коллекция рукописей, приобретённых на протяжении тридцати лет у разных людей — у разорившегося немецкого аптекаря из Брашова, у вдовы греческого монаха, у цыгана, который утверждал, что нашёл свиток в дупле дуба. Рукописи были на латыни, на старославянском, на языке, которого Пэтрашку не мог опознать и который выглядел так, словно буквы корчились от боли. Ликуреску спускался в подвал после ужина и поднимался перед рассветом. Пэтрашку оставлял ему на верхней ступеньке поднос с кувшином сливовой ракии и куском овечьего сыра. Иногда поднос оставался нетронутым. Иногда кувшин был пуст, а сыр раскрошен, словно его не ели, а мяли в пальцах.

Потом появилась Флоаря.

Никто не знал, откуда она взялась. В один из октябрьских вечеров Пэтрашку вышел запереть ворота и увидел, что на скамье у колодца сидит женщина. Не молодая и не старая — возраст скользил по её лицу, не задерживаясь. Волосы чёрные, тяжёлые, сплетённые в косу, переброшенную через левое плечо. Глаза — Пэтрашку потом пытался описать их жене и не мог, говорил только, что они были «как у козы, только не козьи». Она не шевелилась, и на ней не было росы, хотя вечерний туман уже оседал на всём — на перилах, на крышке колодца, на собачьей шерсти.

— Вы к кому? — спросил Пэтрашку.

— Он знает, — ответила она.

Пэтрашку хотел сказать что-то ещё, но тут на крыльцо вышел Ликуреску — сам, без зова, чего никогда не делал по вечерам, — и посмотрел на неё. Пэтрашку ожидал увидеть его удивление, но увидел такой взгляд... Не радостный, нет. С таким взглядом человек смотрит на долг, который наконец пришли взыскать.

— Приготовь комнату в восточном крыле, — сказал Ликуреску, не отводя от неё взгляда.

— Какую именно, господин?

— Ту, что без окон.

Пэтрашку приготовил. Застелил постель, принёс воду и полотенце. Флоаря прошла мимо него по коридору, и он почувствовал запах — не благовоний, не пота, а чего-то растительного, терпкого, как можжевеловая смола, смешанная с чем-то горьким, чему он не знал названия.

Она жила в усадьбе три месяца. За это время Пэтрашку ни разу не видел, чтобы она ела. Он ставил еду под дверь — тарелка возвращалась пустой, но он не верил, что это она её опустошала. Однажды он подсмотрел через щель — тарелка стояла на полу, и по ней деловито сновали муравьи, хотя зимой муравьёв быть не могло. Флоаря сидела на кровати, неподвижная, с закрытыми глазами, и её губы двигались, произнося что-то без звука.

Ликуреску изменился. Он больше не спускался в подвал. Рукописи лежали нетронутые. Он проводил вечера с Флоарей в комнате без окон, и оттуда не доносилось ни звука. Пэтрашку прикладывал ухо к двери — ничего. Ни разговоров, ни шагов, ни скрипа кровати. Один раз — только один — он услышал нечто: ритмичное низкое у-у-у-у, как будто кто-то водил мокрым пальцем по краю огромного стеклянного сосуда. От этого звука у Пэтрашку заныли зубы, все сразу, и он отшатнулся.

А потом в усадьбу пришла Сорина.

Её привёл цыган по имени Лэкэтуш, который поставлял Ликуреску лошадей. Лэкэтуш сказал: «Она моя племянница, ей негде жить, может, господину нужна служанка». Ликуреску посмотрел на Сорину — и Пэтрашку увидел, как зрачки хозяина расширились. Сорине было лет двадцать пять. У неё была кожа цвета гречишного мёда, и она двигалась так, будто воздух вокруг неё был чуть более плотным, чем вокруг остальных людей, — каждое движение было замедленным и оттого казалось значительным, как жест в церковной службе.

— Пусть остаётся, — сказал Ликуреску.

Лэкэтуш получил деньги и ушёл, и Пэтрашку заметил, что цыган, уходя, ни разу не обернулся — шёл быстро, сутулясь, как человек, который сбросил ношу и боится, что его заставят поднять её снова.

С этого дня усадьба стала похожа на организм, в котором поселились два несовместимых паразита. Флоаря и Сорина не разговаривали друг с другом. Они вообще не встречались — когда одна выходила в коридор, другая была в комнате, и наоборот, как если бы между ними действовал какой-то закон взаимного отталкивания. Но Пэтрашку чувствовал напряжение — оно было в стенах, в воздухе, в том, как потрескивала штукатурка по ночам, словно дом пытался расшириться, чтобы вместить то, что в нём происходило.

Ликуреску проводил дни с Сориной. Они гуляли по саду, несмотря на январский холод, и Пэтрашку видел из окна, как хозяин, в своей медвежьей шубе, шёл рядом с цыганкой, одетой лишь в лёгкое платье и шаль, и пар поднимался только от его дыхания — её рот оставался закрытым, и она не дышала. Или дышала так неглубоко, что мороз не мог это обнаружить.

Ночами Ликуреску возвращался к Флоаре. Пэтрашку знал это по звуку шагов — хозяин шёл в восточное крыло тяжело, как человек, идущий против ветра.

В феврале Пэтрашку нашёл дохлую лису у порога Сорининой комнаты. Горло у лисы было сдавлено, но не зубами — следов укуса не было. Выглядело так, словно горло стянули верёвкой, только верёвки тоже не было. На следующее утро — ещё одну, на этот раз у колодца. Потом — ворону на подоконнике, с головой, повёрнутой на сто восемьдесят градусов. Собаки перестали лаять. Они лежали в конуре, прижав уши, и скулили тихо, монотонно.

Однажды ночью Пэтрашку проснулся от крика. Не женского — мужского. Кричал Ликуреску, и крик этот был такой, какого Пэтрашку не слышал за тридцать один год службы: не крик боли и не крик страха, а вопль, который, казалось, человеческое горло не могло издать.

Пэтрашку не пошёл. Он лежал в кровати, натянув одеяло до подбородка, и слушал, как крик перешёл в хрип, хрип — в бормотание, а бормотание — в то самое стеклянное у-у-у-у, от которого ныли зубы. Потом стало тихо. Потом что-то тяжёлое волокли по каменному полу восточного крыла.

Утром Пэтрашку увидел Ликуреску в саду. Хозяин копал. Земля была мёрзлая, лопата с трудом входила, и Ликуреску бил по ней ногой, и лицо у него было белое, абсолютно белое, как фарфоровая тарелка, с которой соскоблили рисунок. Рядом лежало что-то завёрнутое в скатерть. Пэтрашку узнал скатерть — она была из восточного крыла, льняная, с вышитыми виноградными гроздьями.

— Господин... — начал Пэтрашку.

— Молчи, — сказал Ликуреску, не поднимая головы, — и забудь.

Пэтрашку не забыл. Но молчал — шестнадцать лет, до самой смерти Ликуреску, который умер в своей постели зимой, в три часа ночи, и когда Пэтрашку вошёл в спальню утром, лицо покойника выражало не ужас и не покой, а сосредоточенность, как у человека, который пытается вспомнить что-то очень важное.

После похорон Пэтрашку рассказал всё отцу Николае. Священник слушал, не перебивая, потом перекрестился и спросил:

— А вторая? Флоаря? Она ушла?

— Я не знаю, — сказал Пэтрашку. — Я так и не узнал, уходила ли она вообще.

# Люсьен Фурнье

Гастон Вердье ждал. Каждый вечер он ждал этого, не погаснет ли свет раньше, чем придёт гость. Но гость пришёл рано, ещё при свете, хотя и за полчаса до назначенного времени, и сейчас сидел в кресле у окна, подперев подбородок кулаком, и смотрел, как по стеклу скользят капли дождя.

Гастон знал этого молодого человека, Тома Бремона, по переписке. Том писал, что хочет написать книгу о людях, которые всю жизнь прожили в одной точке. Гастон согласился рассказать ему свою историю, потому что история была единственным, что у него осталось в собственности.

Он сказал: «Я расскажу вам всё. Но сначала поймите: я расскажу вам не жизнь, а расхождение двух жизней. Одну из них прожил я, другую прожил человек, которого я выдумал. И вот что странно, выдуманный оказался честнее».

Он помолчал, поднося к губам рюмку с коньяком.

Гастон родился в семье сапожника. Отец его был малорослым, с тихим, настойчивым голосом, который звучал так, будто говорил не с тобой, а куда-то в стену, в надежде, что стена ответит лучше. Мать шила, она шила всё, от носков до штор, и в этом шитье был какой-то безнадёжный порядок, от которого Гастон, уже взрослея, стремился бежать. Он бежал в ломбард, в подсобку торговца тканями, потом к кому-то поважнее, потом к кому-то ещё поважнее. К тридцати годам он владел магазином тканей на рю де Риволи, не дворцом, но вполне приличным зданием с тяжёлыми шторами и подсвечниками.

Он женился на Элен де Монморанси, красивой, холодной, с голосом, будто произносящей слова сквозь тонкое стекло. Она родила двоих сыновей, которые выросли и уехали, и Гастон давно уже не считал себя членом семьи. Жизнь его была устроена, как хороший дом, каждая комната на месте, каждая комната нужна, но ни в одной из них не было тепла.

А потом он нашёл не Монморанси. Он нашёл улицу Сен-Медар, узкую, замысловато изогнутую. Там, на первом этаже жила Маргерит Шовен, дочь бывшего часовщика, сама шившая кружево для торговых домов. В квартире была одна комната с углом для кухни. Маргерит читала без очков, склоняя книгу близко к глазам, и читала вслух, прижимая пальцы к губам, когда попадалась страница, которая её трогала.

Гастон пришёл туда первый раз по делу, в доме сломалась канализация, и он пришел осмотреть повреждения. Маргерит открыла дверь в ночной рубашке, с волосами, собранными в узел, и с лицом, которое было не красивым. Глаза серо-зелёные, с россыпью веснушек у переносицы, и в них было то, чего Гастон не встречал ни в одном из зеркал своей жизни: спокойствие. Не равнодушие, именно спокойствие, как у реки, которая знает, куда течёт.

Он не влюбился в тот же день. Но ушёл и вернулся на следующий, под предлогом осмотра утечки воды. И на третий. И на четвёртый. Каждый раз он приносил что-то: булку, пучок зелени, разок дешёвое ожерелье, увидев которое Маргерит засмеялась и спрятала его в карман фартука. Она не спрашивала, зачем он приходит. Она просто ставила перед ним тарелку и слушала, как он говорит о тканях и квартирах и о том, как течёт Сена осенью. Она слушала так, будто каждое его слово было зерном, которое она бросала в землю.

Гастон сказал Тому: «Вы спросите, отчего я не представился сразу. Я объясню. Элен знала каждый мой шаг. Она знала расписание моих дней, знала, какой у меня вес, знала, какой у меня размер обуви. Если бы я пришёл к Маргерит как Гастон Вердье, она бы сразу поняла, кто я. Не тот человек, которого подпускают близко, а тот, которого она видела на карточках благотворительных приёмов, в газетах, в длинных чёрных каретах. Она бы отвернулась, не из высокомерия, нет. Просто у Маргерит было чутьё, и она бы знала, что с богатым мужчиной приходит не та жизнь, которую он обещает».

Он придумал Люсьена Фурнье, торгового агента из магазина тканей, живущего на четвёртом этаже на улице Сюльпис, разведённого, скромного, с лицом, которое легко терялось в толпе. Гастон учился ходить иначе, чуть ссутулившись, с опущенной головой. Учился говорить тише, растянуто, с паузами, как будто слова давались ему с трудом. И однажды он пришёл к Маргерит уже не как Гастон, а как Люсьен, и она усмехнулась и сказала: «Ну наконец. Я вас ждала».

Он так и не понял, видела ли она сквозь него. Возможно, в ней просто было чутьё, или просто скромный человек радуется, когда к нему относятся просто.

Том молчал. За окном перестал идти дождь, и улица засветилась влажным жёлтым светом фонарей. Гастон поставил рюмку на стол и продолжал.

Люсьен Фурнье ходил к Маргерит каждую среду. Иногда и по воскресеньям. Он приносил ей книги, дешёвые, пиратские, в мягких переплётах, и они читали их вдвоём, и Маргерит комментировала строки, и Люсьен слушал, и чувствовал, что слушает не так, как слушал Гастон. Люсьен слушал всем телом: поворачивался к ней, наклонялся, подрагивал усами. Маргерит говорила, что Люсьен добрый, странный человек, который понимает книги лучше, чем те, кто их написал.

Они не спали вместе три года. Не потому, что Маргерит была скромна, она была ровно такой, какой была, а потому, что Люсьен не мог. Каждый раз, когда они оказывались рядом, он чувствовал, что Люсьен это ложь, а ложь не может коснуться того, что настоящее. Он целовал её руки, брал её лицо в ладони и думал о том, как странно устроен мир: он, Гастон Вердье, владелец целого квартала, не мог прикоснуться к женщине, которая шила кружево за пятьсот франков в месяц, пока не перестал быть собой и не стал кем-то другим.

Том спросил: «И вы стали для неё кем-то настоящим?»

Гастон ответил: «Люсьен стал для неё единственным мужчиной, который приходил не за чем-то. Гастон приходил к ней по средам. Гастон ничего не хотел. Гастон просто сидел и слушал. И Маргерит, она ведь таких не встречала. Она привыкла, что мужчины приходят за кружевом, или за телом, или за деньгами. А он за ничем. И потому он стал всем».

Он замолчал и налил себе ещё коньяка. Рюмка дрожала в руке, и Гастон смотрел на свои пальцы с таким вниманием, будто видел их впервые.

Гастон продолжал: «Вечером, когда я пришёл, Маргерит стояла у плиты и варила суп. Она посмотрела на меня, на Гастона, в костюме, с руками, которые не умели ничего, кроме как подписывать документы, и сказала: "Люсьен болен?" Я кивнул. Она не спросила, что случилось, и я не объяснил. Мы ели суп в тишине, и за окном шумел Сен-Медар, и фонарь на углу мигал, и в этом мигании было что-то безнадёжное и равномерное, как всё, что длится слишком долго».

Том записывал быстро, короткими фразами, и Гастону казалось, что каждое слово, попадая на бумагу, теряет что-то, как рыба, вытащенная из воды, теряет что-то, даже если её ещё не убили.

Том поднял глаза: «Почему вы не рассказали ей?»

Гастон ответил: «Рассказать ей, что я живу в доме, который стоит больше, чем вся улица Сен-Медар, где она родилась и умрёт? Рассказать, что каждую среду Люсьен Фурнье снимал номер в гостинице на Сен-Жермен, переодевался и ехал на другой конец Парижа, чтобы быть рядом с женщиной, которая шьёт кружево? Она бы не поняла. Не потому что глупа, она бы поняла слишком хорошо. Она бы поняла, что всё, что между нами, это постановка, и что даже то, что казалось честным, было спланировано ещё до того, как я постучал в её дверь».

Том сказал: «А может быть, и это было честно. Может быть, Люсьен был честнее, чем Гастон. Может быть, тот факт, что он не существовал, это и было единственное чистое, что между вами».

Гастон посмотрел на Тома так, будто услышал то, на что не имел права. Потом медленно снял очки, протёр их платком, надел обратно, и мир, видимо, стал чётче.

Он сказал тихо: «Вы не понимаете. Люсьен не был маской. Маска это когда надеваешь что-то поверх настоящего лица. А я не могу сказать, что у Люсьена было другое лицо. У Люсьена не было лица. Он был отношением. Он существовал только в тот момент, когда я сидел напротив Маргерит и слушал, как она говорит о буквах, о супе, о страхе перед зимой. Вне этого Люсьена не было. И я не знаю, кто из нас двоих, Гастон или Люсьен, был более честен. Гастон вёл счёт. Люсьен не вёл ничего».

За окном вспыхнул фонарь, хотя было ещё не совсем темно. Маргерит умерла зимой, тихо, во сне, с расчёской в руке. Гастон узнал из письма её племянницы, которое пришло на его настоящее имя, и он три дня не мог ничего есть.

Гастон продолжал: «Я поехал к ней на Сен-Медар. Поднялся по лестнице, постучал. Открыла племянница. Она дала мне шкатулку. В ней кружево, которое Маргерит не успела закончить, и фотография. На фотографии Люсьен. Её Люсьен. Она сохранила».

Он продолжил: «Она написала мне на обороте: "Il ;tait doux". Он был мягким. Он не существует. Но он был мягким».

Гастон встал, подошёл к окну. Город внизу жил своей жизнью, трамваи, голоса, далёкий звук баяна из какого-то кафе.

Он обернулся к Тому: «Вот что я хотел вам сказать. Не то, что я хитрил. Не то, что я любил. А то, что я до сих пор не знаю, в чём состояло моё преступление. Я не украл деньги. Я не обманул государство. Я просто стал другим человеком рядом с женщиной, которая этого заслуживала. И если это грех, то это грех, для которого нет названия ни на одном языке».

Том закрыл блокнот.

Гастон провёл два дня после приезда Тома в состоянии, которое не умел определить. Не скука, нет, скука была ему знакома, как старая хромота. Скорее ощущение, что комната, в которой он жил сорок лет, стала чуть шире. Или чуть более пустой.

Он ходил по дому с нетерпеливой, рассеянной энергией. Переставил вазу на буфете, она стояла там со времён Элен. Разжёг камин днём, хотя на улице стояла мягкая осень. Нашёл в ящике конверт, в котором Том оставил свой адрес, нацарапанный карандашом, крупным, неровным почерком.

На третий день Гастон написал ему три сухих абзаца, поблагодарил за визит и предложил встретиться через месяц. Подпись: Gaston Verdier.

Но потом он стал думать о том, что Том записывал. Каждый вечер после ужина, минестроне из консервированной фасоли и сухого белого вина, которое он пил из стакана, потому что бокалы напоминали ему Элен, Гастон садился в кресло и представлял, что именно записал Том.

Том ответил коротко: «Жду встречи. Рукопись почти готова».

Гастон перечитал трижды. Он понял, что боится не Тома, а того, что Том уже видит его яснее, чем он видит себя.

Он позвонил сам: «Мистер Бремон, я хотел бы прочитать рукопись. До встречи».

Том помолчал четыре секунды. Потом сказал: «Приезжайте. Но предупреждаю, вы не узнаете себя».

Они встретились в кафе на улице Сен-Бенуа. Том заказал абсент. Гастон сказал: «Вы написали про Маргерит». «Да». «Про Люсьена». «Да». «И обо мне».

Том ответил: «Я написал о человеке, который создал для себя другого человека и полюбил его больше, чем себя. Это были не вы. Но это была ваша история».

Том прислал рукопись через две недели. Гастон читал всю ночь. В рукописи был сделан выбор, и выбор этот был другим.

Том написал, что Маргерит полюбила Люсьена за то, что он приходил.

Рано утром Гастон позвонил: «Меня зовут Гастон Вердье. Я никогда не был Люсьеном Фурнье. Но я хочу, чтобы вы написали, что я был».

Том ответил: «Но вы были». И повесил трубку.

Книга пришла в ноябре. Курьер принёс небольшую картонную коробку.

Гастон открыл титульный лист. Там стояло:

Люсьен Фурнье

Роман

Том Бремон

Ни фамилии Гастона. Ни его имени.

Том начал с марта тысяча девятьсот тридцать второго года. С запаха свежего хлеба, который приносила Маргерит. У человека за столом были серые глаза и седые волосы, он походил на учителя, на старого часовщика. Он слушал, как Маргерит рассказывает о букве шин, которая молчит, но помнит всё.

Том не написал ни слова о деньгах. Не написал о магазине на рю де Риволи. Не написал об Элен. Не написал о сыновьях, которые уехали. Не написал о подлеце-сутенёре, о поездках в Гонконг, о войне, о мёртвом городе, в котором Гастон ходил по улицам с портфелем, полным страховых полисов, и считал, что делает что-то важное. Он написал о средах. О том, как Люсьен приходил, снимал обувь у порога, садился за стол, и Маргерит ставила перед ним тарелку, и они ели. И потом Люсьен брал книгу из сумки и читал вслух, и Маргерит слушала, прижав пальцы к губам.

Через сто двадцать страниц Гастон дошёл до места, где было написано одно предложение: «Утром она не встала. Расчёска лежала на полу рядом с кроватью. Люсьен приходил каждый день, пока не перестал приходить».

На последней странице курсивом стояло: «Тому, кого я выдумал, и от которого ничего не осталось, кроме имени».

Гастон снял пиджак. Сел в кресло у окна. Книга лежала раскрытой, страница с посвящением была прижата кофейной чашкой, и ветер из приоткрытого окна приподнял ещё одну страницу. Гастон не пошевелился. Он ждал, пока лист перевернётся сам, как будто ответ придёт не от него, а от воздуха, от движения, от чего-то, что находится между строками и не принадлежит никому.

# Август

Жара настигла Теодора Морена в воскресенье, двенадцатого августа, около одиннадцати утра.

Сначала это был просто зной: белый свет на плитах, неподвижные кипарисы, горячая пыль на листьях винограда. Потом что-то изменилось. Воздух стал плотным, будто его налили в сад заранее и забыли выпустить. Дом, всегда прохладный по утрам, перестал держать оборону.

Теодор сидел на веранде с блокнотом на коленях. Рубашка прилипла к спине. На столе стоял стакан воды, но вода уже была тёплой. В саду не двигалось ничего. Даже цикады, которые всю неделю пилили воздух до одури, умолкли, словно и им стало нечем дышать.

Дом достался ему после смерти тётки. Она умерла три года назад, но нотариусы, письма, подписи и пересылки тянулись так долго, что наследство казалось не вещью, а судебной ошибкой, которую все устали исправлять. В детстве Теодор проводил здесь каждый август: ел персики прямо с дерева, пачкал подбородок соком, потом мучился с животом и ненавидел тётку за касторку, которую она наливала ему в ложку с деловой нежностью.

Теперь персиковое дерево стояло почти сухое. На нём висели три плода, маленькие, сморщенные, с трещинами у косточки. Теодор собирался вызвать садовника, потом каменщика, потом человека, который разбирается в крышах. Записал всё это в блокнот. Потом перевернул страницу и долго смотрел на белую бумагу.

Он был художником. Его натюрморты знали в двух лионских галереях; одну картину купил музей. Этого хватало, чтобы он не считал себя неудачником.

Он писал спокойные вещи: груши на серой ткани, глиняный кувшин, нож с костяной ручкой, сложенную салфетку.

Людей он писал редко. Люди мешали: садились не так, дышали не вовремя, хотели быть похожими на себя.

В это утро он не мог нарисовать даже кувшин.

На столе лежали нож, персиковая косточка, мокрая тряпка, забытая с вечера. Хороший набор. Можно было начать с ножа, с его тусклого лезвия, с деревянной рукояти, растрескавшейся у заклёпки. Но рука не двигалась.

Теодор взял карандаш.

Провёл линию.

Потом ещё одну.

Он не думал. Рука работала сама, и только потом он понимал, что именно возникло на бумаге.

На листе появился человек.

Толстый. Лысый. С короткой шеей и маленькими глазами под нависшими веками. Он сидел не прямо, а чуть боком, как сидят люди, привыкшие работать на одном месте много лет. Перед ним лежала каменная плита. В правой руке он держал резец. На камне были буквы, но Теодор не разобрал их.

Он посмотрел на рисунок и почувствовал раздражение.

Никогда прежде он не рисовал этого человека.

Теодор отложил рисунок, поднялся и вышел со двора.

Дорога за домом была пыльной. Она вела между низкими стенами, сложенными из плоского камня, потом сворачивала к виноградникам и дальше уходила к деревне. Теодор не собирался идти далеко. Он просто не мог оставаться на веранде.

Он вышел без кепки и сразу пожалел об этом. Солнце палило. В горле першило. Мелкая пыль липла к губам. Где-то за каменной оградой пахло разогретой смолой и козьим навозом. Два раза он остановился, чтобы вернуться, но всякий раз делал ещё несколько шагов вперёд.

Он не помнил, чтобы раньше видел эту постройку.

Низкое серое здание стояло в стороне от дороги, за старым инжиром. Над входом был жестяной навес, под ним — несколько плит, прислонённых к стене. На плитах темнели имена. Некоторые были уже закончены, другие только начаты. У самой двери стояла тачка с каменной пылью.

Теодор подошёл ближе.

Под навесом сидел человек.

Толстый. Лысый. С короткой шеей. Маленькие глаза под опухшими веками.

Он держал резец и молоток. Каждый удар был коротким. Каменная крошка сыпалась ему на фартук, на ботинки, на пол. Человек не поднял головы, хотя Теодор остановился совсем рядом.

Теодор ощутил, что у него вспотели ладони.

— Простите, — сказал он.

Человек продолжал работать.

— Вы меня слышите?

Тот ударил ещё два раза. Потом провёл большим пальцем по свежей букве, сдул пыль и только тогда поднял глаза.

— Морен?

Теодор ничего не ответил.

— Теодор Морен? — повторил человек.

Голос у него был спокойный, хрипловатый.

— Да, — сказал Теодор. — Откуда вы знаете?

Каменотёс кивнул на плиту, лежавшую перед ним.

Теодор сделал шаг.

На сером камне уже было вырезано его имя.

ТЕОДОР МОРЕН

1969—

Дальше шла сегодняшняя дата.

Двенадцатое августа.

Цифры были ещё светлее остального: свежий надрез обнажил внутреннюю сухость камня. Последняя цифра была недовырезана. У неё не хватало нижнего хвоста.

Теодор посмотрел на дату, потом на человека, потом снова на дату. В первое мгновение ему захотелось рассмеяться. Так смеются, когда видят, что стул, на который собирались сесть, исчез, а тело ещё продолжает садиться.

— Это ошибка, — сказал он.

Каменотёс пожал плечами.

— Бывает.

— Что значит — бывает?

— В именах реже. В датах чаще.

— Я жив.

— Вижу.

— Тогда зачем вы это вырезаете?

Каменотёс опустил взгляд на плиту. На его виске висела крупная капля пота.

— Мне принесли камень, я вырезаю.

— Кто принёс?

— Не знаю. С утра стоял у двери.

— И вы просто начали?

— Работа есть работа.

Теодор почувствовал, как злость поднимается в нём, но поднималась она вяло, будто и для злости было слишком жарко.

— Вы понимаете, что это моё имя?

— Теперь понимаю.

— И вы ничего не спросили?

Каменотёс посмотрел на него с некоторой усталостью.

— Мсье, я сорок лет вырезаю имена людей, которых не знаю. Если бы я всякий раз спрашивал, почему они умерли, я бы не сделал ни одной плиты.

Теодор хотел возразить.

Где-то рядом, под навесом, билась на камне большая чёрная муха. Она падала на спину, переворачивалась, снова поднималась и снова падала.

— Я вас сегодня нарисовал, — сказал Теодор.

Каменотёс не удивился.

— Меня?

— Да. Час назад. Я сидел у себя на веранде и нарисовал вас. За этим столом. С резцом. С камнем.

— Похожим получился?

Теодор посмотрел на его руки. Толстые пальцы, короткие ногти, кожа в белых трещинках от каменной пыли.

— Да.

— Тогда вы хороший художник.

Теодор вынул блокнот. Ему казалось важным показать рисунок. Он открыл страницу.

Человек на рисунке сидел точно так же. Та же лысина, блестящая от жары. Тот же камень на столе.

Теодор поднёс блокнот ближе.

Каменотёс наклонился, посмотрел.

— Да, — сказал он. — Похож.

Но я не видел вас раньше.

— Может, видели и забыли.

— Нет.

— Тогда не видели.

Он вернул взгляд к плите и взял резец.

— Подождите, — сказал Теодор.

Резец замер над последней цифрой.

— Вы можете не вырезывать дальше?

Каменотёс некоторое время молчал. Потом положил инструмент на стол.

— Могу.

— Тогда не делайте этого.

— Хорошо.

Каменотёс стряхнул с фартука пыль, поднялся, пошёл к баллону в углу, налил воду в жестяную кружку и протянул ему.

— Пейте. Лицо у вас нездоровое.

Вода была тёплая, но Теодор пил жадно. Несколько капель пролилось на рубашку.

— Вы верите в это? — спросил он.

— Во что?

— В даты. В то, что вы вырезаете.

Каменотёс сел обратно, но резец не взял.

Они молчали.

Теодор смотрел на плиту. Если не обращать внимания на имя, это был серый камень. У него был сколотый угол, тонкая прожилка у края, несколько старых пятен. Камень, который можно поднять только вдвоём. Камень, который однажды положат горизонтально, и дождевая вода будет собираться в буквах.

— Я пойду, — сказал Теодор.

— Идите по тени, где найдёте.

— Вы не будете доделывать?

— Вы просили — не буду.

Теодор кивнул.

Он вышел из-под навеса. Солнце ударило в лицо так резко, что он на мгновение ослеп. Дорога обратно показалась длиннее. Теодор шёл медленно. Сердце стучало слишком быстро, потом вдруг слишком глухо. Он останавливался у каждой редкой тени: у стены, у куста лаванды, у сухой груши, где тень была дырявая и бесполезная.

Когда он дошёл до ворот, пальцы плохо слушались. Щеколда была горячей. Он открыл её не сразу.

На веранде блокнот лежал на кресле. Карандаш скатился в складку сиденья.

Теодор сел.

Некоторое время он тяжело дышал.

Потом открыл блокнот на чистой странице.

Он хотел нарисовать дом. Веранду. Нож на столе. Стакан воды. Что угодно, только не камень.

Рука провела линию.

Не ту.

Он остановился.

На странице появлялся край плиты.

Теодор сжал карандаш сильнее. Попробовал изменить линию, увести её в сторону, сделать из неё край стола, доску, тень от ставни. Но рука уже знала форму. Она опустила вертикаль. Наметила сколотый угол. Провела тонкую прожилку у края.

Появились буквы.

Сначала имя. Потом фамилия. Потом год рождения.

Последней пошла дата.

Двенадцатое августа.

Нижний хвост последней цифры получился не сразу. Карандаш дрогнул, остановился, снова пошёл вниз.

На дороге, далеко за садом, коротко стукнул металл о камень.

Теодор поднял голову.

Было тихо.

Он посмотрел на лист. Потом на свою руку.

Карандаш выпал из пальцев.

# Записки о том, чего не было

Эрнст Циммерман жил на четвёртом этаже дома по Шпигельгассе в Цюрихе. Каждое утро он спускался по лестнице так медленно, будто считал ступени, хотя давно знал, что их тридцать семь. Он работал в страховой конторе «Хельветия», где занимался перестрахованием морских грузов. Его невеста, Герта Бруннер, преподавала музыку в женской гимназии и по вечерам приходила к нему пить липовый чай с печеньем, которое пекла его мать. Мать Эрнста, фрау Циммерман, вдова, каждый раз ставила на стол три чашки, хотя сама садилась редко — она предпочитала стоять у плиты и слушать, как Герта рассказывает о своих ученицах. Эрнст молчал. Он думал о пассажах.

Не о тех, которые Герта разбирала в сонатах Шуберта, а о других — крытых торговых галереях, каких в Цюрихе почти нет, но которые он видел однажды в Берне, в детстве, когда отец возил его на выставку часовых механизмов. Ему было тогда одиннадцать. Отец держал его за руку, и они вошли под стеклянную крышу — и Эрнст подумал, что вот оно, то самое место, где можно жить, не выходя наружу. Отец купил ему засахаренный миндаль и умер через два года от аневризмы аорты, и с тех пор пассажи стали для Эрнста чем-то вроде тайного органа, который болит, когда меняется давление.

Он никому об этом не рассказывал. Зачем? Герта посмотрела бы удивлённо, мать — встревоженно. Коллега Вебер, с которым они делили кабинет, говорил только о лыжах и о своём участке в Аппенцелле. А Эрнст ходил. Он ходил по городу так, как другие пьют, — тайно, много, стыдясь. После работы он спускался от Банхофштрассе к Нидердорфу, нырял в проходные дворы, протискивался между задними стенами магазинов, и иногда — не всегда, но иногда — улица раздваивалась, или сворачивала не туда, и он оказывался в переходе, которого прежде не замечал. Это были ненастоящие пассажи: узкие коридоры между домами, перекрытые наспех жестью или фанерой, с одной витриной починки зонтов, с одной дверью в подвал, с одной лампочкой. И Эрнст стоял в этих щелях между зданиями, как стоят в церкви, бездумно и благодарно.

В один из таких вечеров, в ноябре, когда на Цюрих лёг первый по-настоящему холодный туман, Эрнст обнаружил проход, которого раньше точно не было. Он шёл от Ратушного моста по Обердорфштрассе, свернул в переулок, названия которого не знал, и оказался перед аркой, за которой горел — не электрический, а мягкий, чуть колеблющийся — свет. Он вошёл. Пассаж тянулся метров на двадцать, не больше. Слева была витрина с кожаными перчатками, справа — стеклянная дверь, за которой угадывалось кафе. Потолок — гипсовые лепные карнизы, потемневшие от времени, с виноградными гроздьями и лентами, — был так низок, что Эрнст инстинктивно пригнул голову.

За стеклянной дверью сидела женщина. Она пила из маленькой рюмки что-то зелёное и листала газету, держа её далеко от глаз, как делают дальнозоркие. На ней было тёмно-вишнёвое платье с высоким воротом, и волосы были убраны так, как Эрнст видел только на фотографиях своей бабки, — тяжёлым узлом на затылке, с одной выбившейся прядью. Он толкнул дверь. Колокольчик звякнул. Женщина подняла глаза.

— Садитесь, — сказала она по-немецки, но с акцентом, который Эрнст не смог определить, — здесь не дует, а у двери — дует.

Он сел напротив. Подошёл хозяин — мужчина с бакенбардами, в переднике, — и Эрнст заказал кофе, хотя чувствовал, что здесь пьют не кофе. Женщина улыбнулась. Она назвалась Леони. Она жила здесь, наверху, в мансарде. Она сказала это просто, как говорят «я живу на Банхофштрассе», и Эрнст не спросил, чем она занимается, потому что уже знал, и это знание было не стыдным и не волнующим, а каким-то домашним, как знание того, что в ноябре темнеет рано.

Они разговаривали. О чём — он потом не мог восстановить точно. О снеге, который обещали. О мужчине, которого в квартале боялись — не убийце, нет, скорее о ком-то, кто ходил по ночам и заглядывал в окна, и никто не знал, зачем. Леони говорила об этом так, как его мать говорила о сквозняках, — с привычной опаской, не переходящей в страх. Эрнст спросил, давно ли этот человек бродит. Она пожала плечами. Давно. С осени. Может быть, с прошлой осени.

— Его кто-нибудь видел близко?

— Рыжая Берта говорит, что видела. Но Берта видит много чего, особенно после полуночи.

Они засмеялись. Эрнст допил кофе, который оказался горьким и прекрасным, совсем не таким, как в конторской столовой, и заплатил, и хозяин улыбнулся ему, как знакомому. Он поднялся к Леони. Мансарда была маленькой, с косым потолком, заваленная подушками и вещами — флакон духов, жестяная коробка с пуговицами, гравюра с видом озера. Они были вместе, и это было так, будто они были вместе и прежде, много раз, и перерыв — целая его жизнь — был просто паузой, затянувшейся нотой, над которой Герта склонила бы голову и сказала ученице: «Считай, Марта, считай, здесь четыре четверти».

Он вернулся домой за полночь. Мать не спала, но она не вышла. Утром за завтраком она смотрела на него так, будто он переломил что-то — не кость, а какой-то негласный договор между ними, скреплённый годами липового чая и печенья. Он принёс ей вечером шоколад, и она приняла его, и договор как будто восстановился, но оба знали, что склейка видна.

Эрнст возвращался к Леони. Не каждый вечер — иногда проход не находился, и он бродил по Нидердорфу, злясь и промерзая, и наконец садился в трамвай и ехал домой. Но когда арка открывалась, всё шло, как в первый раз: колокольчик, зелёная рюмка, бакенбарды хозяина, мансарда. Они говорили о том человеке, который ходил по ночам. Однажды Леони сказала, что к ней приходит один южанин, не итальянец, а откуда-то из далека — может быть, из Аргентины, может быть, из Уругвая. Он худой, носит старомодный чёрный плащ, молчит и пьёт абсент, стоя у стойки. Берта с ним была, но не рассказывает — то ли нечего, то ли не хочет. Эрнст видел его один раз: узкие плечи, опущенное лицо, рука на стойке — длинные пальцы, как у пианиста. Он хотел подойти, заговорить — и не смог. Что-то остановило его, какой-то запрет, необъяснимый и твёрдый, как стеклянная стена.

А потом стало труднее. Герта заговорила о свадьбе. Мать одобрила. Эрнст согласился, потому что не умел не соглашаться, и потому что по утрам, на лестнице, считая тридцать семь ступеней, он думал, что, может быть, женитьба — это и есть то, что остаётся, когда арка перестанет открываться. И арка действительно стала открываться реже. Он приходил на знакомый угол — и там была стена. Просто стена, штукатурка, ни щели. Он трогал её ладонью. Холодная. Однажды, в январе, арка открылась снова, и он бежал по пассажу, и Леони обняла его, и они поднялись наверх, и она рассказала, что южанин умер. Нашли его в номере маленького отеля на Нидердорфштрассе — странно, что так близко, — среди бумаг, исписанных мелким почерком, с кошкой, которая мяукала у запертой двери. Никто не знал его настоящего имени. Хозяин отеля сердился из-за расходов. Кошку забрала Берта.

Эрнст лежал рядом с Леони и слушал, и ему казалось, что смерть этого человека — тот узел, в котором что-то завязалось окончательно. Не траур, нет. Скорее — закрытие счёта, сведение баланса, которого никто не заказывал.

Он вышел на рассвете. Он прошёл через арку и обернулся — и увидел стену. Штукатурку. Ни щели.

С тех пор прошло три месяца. Эрнст женился на Герте. Мать довольна. В конторе его повысили. Он ходит по вечерам по Нидердорфу, но не ищет — просто ходит. Иногда ему кажется, что он снова видит стену, и он останавливается, стоит, и идёт дальше.

# Старик-моховик

Дождь не прекращался пятую неделю, и земля во дворе Гюстава набухла так, что трещины на ней расходились с мокрым чавканьем, будто кто-то медленно раздирал почву изнутри. Берта просила мужа заложить щели во дворе гравием, но Гюстав, человек хозяйственный и неторопливый, каждое утро лишь стоял на крыльце в расстёгнутой жилетке, оглядывал размытые грядки и молча уходил к себе. Их годовалая дочь кашляла третий день, и от сырости в доме пахло так, словно полы были застелены мокрым сеном. В четверг, после полудня, когда свинцовое небо опустилось, казалось, до самых крыш, Гюстав услышал во дворе глухой треск — почва за сараем провалилась, образовав яму в два человеческих роста. Он подошёл, заглянул — и отступил.

На дне сидел старик.

Он сидел, прислонившись спиной к стенке обнажившегося глинистого пласта, неподвижный, с широко открытыми глазами цвета болотной воды. Кожа его была покрыта чем-то зеленоватым, живым — мох, лишайник, мелкие папоротники росли прямо из его плеч, из локтевых сгибов, из складок шеи. Из трещин его ладоней пробивались тонкие белёсые корешки.

Гюстав позвал жену. Берта стояла рядом с ним над краем провала, прижимая к груди полотенце, и молчала около минуты, прежде чем сказала:

— Может быть, его засыпало. Может быть, он тут лежал, когда строили дом.

Гюстав возразил, что дом строили девяносто лет назад и что ни один человек не мог пролежать в земле столько и остаться живым. Берта пожала плечами. Они оба, надо заметить, были людьми с практической смекалкой: Гюстав служил младшим землемером при муниципальной управе, а Берта до замужества работала на маслобойне и умела взвесить, измерить и разлить по бутылкам. Оба теперь смотрели на старика с тем выражением добросовестного замешательства, с каким крестьянин смотрит на двухголового телёнка: и страшно, и любопытно, и непонятно, кого звать — ветеринара или кюре.

Позвали Перпетую. Перпетуя жила через дорогу, торговала вяленой рыбой и обладала тем складом ума, который не нуждается в образовании, потому что учится на подслушанных разговорах, чужих бедах и имеет собственное непоколебимое мнение обо всём на свете. Ей хватило одного взгляда.

— Это подземный святой, — заявила она, утирая руки о передник. — Мне бабка рассказывала: есть такие, что уходят в землю молиться и выходят через сто лет, когда наверху всё прогнило и надо начинать сначала.

Гюстав не поверил ни единому слову, но не нашёл объяснения лучше.

К вечеру старика вытащили из ямы при помощи верёвок и стремянки. Он не сопротивлялся и не помогал — тело его было на удивление тяжёлым, как если бы кости его были набиты глиной. Его уложили в сарае на мешках из-под репы. Мох на его теле к утру не засох — напротив, пророс мелкими белыми цветами, похожими на те, что появляются весной на кладбищенских стенах. Корешки из ладоней ночью вросли в мешковину, и Берте пришлось осторожно отрезать их ножницами. Старик при этом не издал ни звука, хотя глаза его были открыты и, казалось, следили за чем-то за пределами стен сарая.

На второй день пришёл отец Кассьен. Приходский священник был человеком тощим и педантичным, бывшим счетоводом, принявшим сан в позднем возрасте по причинам, которых он и сам, судя по всему, до конца не понимал. Он долго осматривал старика, принюхивался, даже потрогал мох на его плече кончиком указательного пальца. Затем выпрямился и произнёс, что никакие подземные святые не упоминаются ни в одном из церковных уставов, что растительность на теле живого человека есть, вероятнее всего, следствие запущенной кожной болезни, а молчание — признак помешательства либо глухонемоты. Он добавил, что намерен

написать в епархию, дабы получить разъяснение, и что до тех пор не рекомендует допускать к этому существу людей, склонных к суеверию.

Но было уже поздно. К полудню третьего дня перед сараем Гюстава стояло не менее тридцати человек. Кто-то — вероятно, Перпетуя — разнёс новость по всему кантону, и теперь люди приходили целыми семьями, как на ярмарку, с корзинками еды и детьми на руках. Старика разглядывали через щели в стенах сарая, просовывали в щели пальцы, чтобы потрогать его мох. Одна женщина, страдавшая бесплодием, просунула в щель тряпицу и потёрла ею о его лоб — она слышала, что подземные существа дарят плодородие. Хромой столяр из соседнего городка требовал, чтобы старика подвели к нему, дабы тот возложил на него руки, хотя руки старика были неподвижны и по-прежнему оплетены корнями. Две старухи принесли жертвенного петуха и зарезали его у порога.

Берта, женщина рассудительная, поначалу пришла в ужас от этого нашествия, но к вечеру третьего дня сообразила, что можно брать по два су за вход. Она повесила занавеску на дверной проём сарая, поставила рядом табурет и жестяную миску для монет. Гюстав не одобрил этого, однако не запретил — у них были долги, дочь нуждалась в лекарствах, а крыша протекала в четырёх местах.

Деньги потекли, как дождевая вода, — не иссякая. Паломники, если их можно так назвать, прибывали из всех окрестных деревень, а затем — из городов. Приехал аптекарь из Лиможа с набором пробирок, чтобы взять образцы мха; его не пустили, потому что он отказался платить. Прибыла пожилая дама с прислугой и двумя чемоданами — она утверждала, что старик являлся ей во сне за двенадцать лет до своего обнаружения, и требовала аудиенции. Её тоже не пустили, но уже по другой причине: старик к тому времени стал испускать такой густой запах грибного подземелья, что находиться рядом с ним дольше трёх минут было невозможно.

Исцеления, если они и происходили, носили характер насмешливый и почти издевательский. Женщина, страдавшая мигренями, после посещения сарая избавилась от головных болей, но у неё начали непрерывно расти ногти — с такой скоростью, что их приходилось стричь дважды в день. Глухой мальчик обрёл слух, но слышал теперь только шум текущей под землёй воды — и ничего больше. Горбун из Перигё не выпрямился, но горб его покрылся мягким мхом, зеленым и тёплым, отчего горбун объявил, что чувствует себя любимым впервые в жизни.

Отец Кассьен получал из епархии письма, в которых ему задавали вопросы: имеет ли существо сердцебиение, реагирует ли на латынь, не пахнет ли от него серой, и какова длина его корней в пересчёте на парижские дюймы.

А затем на ярмарочной площади появился странствующий анатомический театр, главным экспонатом которого был человек, чьё тело было совершенно прозрачным: сквозь кожу были видны работающие органы, пульсирующие вены, перистальтика кишечника. Этот человек, в отличие от молчаливого старика, охотно отвечал на вопросы. Он объяснял устройство своего тела с дидактической обстоятельностью, показывал, как бьётся его сердце, и позволял детям прикладывать уши к его прозрачной груди. Билет стоил вдвое дешевле. Зрелище было понятным, увлекательным и не оставляло гнетущего осадка, какой оставлял запертый в сарае заросший мхом старик, которому нечего было предъявить, кроме своего молчания и ботанической неуместности. Паломники схлынули. Жестяная миска опустела. Берта спрятала табурет.

К зиме старик ослаб настолько, что мох на нём пожелтел и стал осыпаться бурой трухой. Папоротники на его плечах съёжились и почернели. Гюстав перенёс его в дом, в чулан под лестницей, потому что в сарае по ночам стоял мороз. Дочь к тому времени уже ходила, говорила отдельные слова и без всякого страха заползала к старику в чулан, садилась рядом с ним и молча перебирала засохшие стебли на его руках. Однажды Берта обнаружила, что девочка заснула, прижавшись к его боку, и из того места, где детская щека касалась его кожи, пророс свежий зелёный побег.

Врач, осмотревший старика по настоянию Берты, заключил, что его внутренние органы функционируют, но необъяснимым образом — лёгкие, по всей видимости, усваивают влагу из воздуха так, как это делают мхи, а сердце бьётся с частотой, свойственной скорее деревьям, нежели млекопитающим: один удар в четыре минуты. Врач долго молчал, записывая что-то в блокнот, и наконец сказал, что единственное, чего он не может понять, — это почему остальные люди устроены иначе.

Весной, когда земля оттаяла, старик начал меняться. Мох вырос заново, но уже не болотный, а ярко-зелёный, почти светящийся. Из его спины, между лопаток, поднялся гибкий стебель, на конце которого набух крупный тугой бутон. Старик в эти дни стал беспокойным: ночами он шевелил губами, и Гюставу казалось, что он слышит гул, похожий на тот, что издаёт земля ранней весной, когда под коркой льда начинает течь вода.

Однажды утром в начале апреля Берта вышла развесить бельё и увидела, что чулан пуст. Дверь во двор была открыта. На том месте, где земля провалилась в прошлом году, стояла маленькая лужа дождевой воды, и в ней плавал единственный белый цветок — крупный, восковой, с тяжёлыми лепестками, каких Берта никогда не видела и название которых не знал никто в кантоне. Берта подняла его, повертела, понюхала — он пах землёй и грибницей. Она положила его на подоконник и вернулась к белью.

К полудню цветок завял. Берта выбросила его вместе с картофельными очистками.

Лето выдалось сухое, и о старике перестали говорить — так же естественно, как перестают говорить о покойнике через положенное количество воскресений. Перпетуя, впрочем, ещё некоторое время пыталась поддерживать интерес к событию: она утверждала, что видела, как старик уходил через двор в предрассветных сумерках, и что земля за ним смыкалась, «как рот, который дожевал и сглотнул». Но Перпетую слушали всё меньше — она в тот же месяц объявила, что у неё в колодце поселился говорящий угорь, и репутация её, и без того державшаяся на честном слове, дала заметную трещину.

Гюстав засыпал яму за сараем, утрамбовал, засадил тыквами. Тыквы выросли чудовищных размеров — одна из них весила столько, что её не смогли поднять двое взрослых мужчин, — но Гюстав не усмотрел в этом ничего сверхъестественного. Почва, размытая дождями и удобренная перегноем, могла дать именно такой результат. Он продал тыквы на рынке по обычной цене, и покупатели, надо заметить, не обнаружили в них ничего необычного, кроме вкуса — кто-то из них потом говорил, что мякоть имела послевкусие, похожее на запах лесной земли после грозы, но это могло быть и самовнушением.

Дочь, которую звали Аделаида, росла странно.

Не то чтобы она была болезненной или замкнутой — напротив, она была здорова, румяна и охотно играла с соседскими детьми. Но уже к трём годам стало заметно, что с ней что-то не так. Она могла часами сидеть на корточках во дворе, прижав ладони к земле, и на вопросы матери отвечала: «Слушаю». На вопрос, что именно она слушает, Аделаида поднимала на мать спокойные зелёные глаза — глаза, которых ни у Гюстава, ни у Берты никогда не было, — и говорила: «Всё».

Берта отвела её к врачу. Врач — тот самый, что осматривал старика, — провёл обычные тесты, постучал молоточком по коленям, посветил в глаза, велел высунуть язык. Язык у девочки был нормальный, розовый, ничем не примечательный. Врач сказал, что дети в таком возрасте часто говорят загадочные вещи и что беспокоиться не о чем. Но когда Берта уже выходила с дочерью из кабинета, врач окликнул её и спросил — осторожно, словно сам стыдился вопроса, — не остались ли у них какие-нибудь предметы от того старика. Берта ответила, что нет, и это была правда: она действительно выбросила цветок.

Однако цветок, как выяснилось впоследствии, не вполне выбросился.

В компостной яме за домом, куда Берта сбрасывала очистки и объедки, к осени вырос куст — плотный, тёмно-зелёный, с листьями, похожими на раскрытые ладони. Куст не цвёл. Он

не плодоносил. Он просто стоял — густой и неподвижный, даже когда ветер трепал всё вокруг, — и корни его, как обнаружил Гюстав, когда попытался выкорчевать его лопатой, уходили так глубоко, что лопата не доставала до конца. Гюстав копал до тех пор, пока не наткнулся на скальную породу, и даже тогда корни продолжали идти дальше, уходя в трещины камня, как нитки в ткань. Он бросил копать, воткнул лопату в землю и пошёл обедать.

Аделаида полюбила этот куст. Она разговаривала с ним — не как дети разговаривают с воображаемыми друзьями, а как взрослый разговаривает с собеседником, чьи ответы слышит только он. Разговоры эти всегда происходили на закате, и Берта, наблюдавшая из кухонного окна, замечала, что в эти минуты листья куста слегка подрагивали, хотя воздух был совершенно неподвижен.

Однажды — Аделаиде было уже четыре — она вошла в кухню, села за стол и сказала:

— Он не один. Их много, и они внизу. Они спят, но не все, и не всегда.

Берта, месившая тесто, остановилась.

— Кто — они?

— Те, которые из-под земли. Он был первый, но только потому, что дождь его разбудил. Остальные ждут.

Берта вытерла руки, присела перед дочерью, взяла её за подбородок и посмотрела ей в глаза — в эти зелёные глаза, — и сказала:

— Не говори так при людях.

Аделаида кивнула. Она была послушной девочкой.

Прошло шесть лет. Гюстав получил повышение и стал старшим землемером, что означало, среди прочего, ответственность за кадастровые съёмки по всему округу. Работа требовала частых поездок, и он неделями отсутствовал. Берта с дочерью оставались в доме, который, несмотря на починенную крышу и новые ставни, продолжал пахнуть сыростью, так как влага поднималась из самого фундамента.

Аделаиде было десять, когда в кантоне случилась засуха. Три месяца без дождя — колодцы обмелели, скотина мучилась, трава пожелтела и полегла. Муниципальная управа обсуждала рытьё нового колодца, но никто не мог договориться, где копать. Лозоходец, вызванный из соседнего департамента, проходил по полям с ивовой рогаткой трое суток и не нашёл подходящего места. Он уехал ночью, не попрощавшись.

Аделаида, узнав об этом, пришла к мэру.

Мэр — лысый человек с усами и хронической изжогой — не хотел её принимать, но она стояла у двери его кабинета с семи утра, молча и неподвижно, и секретарша, не выдержав её взгляда, пустила. Аделаида сказала мэру, что знает, где копать. Мэр спросил — откуда. Аделаида ответила: «Мне сказали». Мэр спросил — кто. Аделаида сказала: «Земля». Мэр хотел было рассмеяться, но что-то в её лице — может быть, неподвижность, может быть, цвет глаз — остановило его. Он сказал: «Покажи».

Она привела его на пустырь за кладбищем, встала на определённое место, топнула ногой и сказала: «Здесь. Семь метров». Мэр, у которого не было других вариантов, распорядился копать.

На глубине семи метров и двадцати сантиметров ударил источник такой силы, что рабочих едва не смыло. Вода была ледяная, чистая и имела слабый привкус — не минеральный, не железистый, а именно тот привкус свежей земли после грозы, который когда-то заметили покупатели гюставовых тыкв. Колодец снабжал весь кантон до конца засухи и после неё.

Аделаида стала местной знаменитостью — тихой, нежеланной. К ней приходили с просьбами, но с опаской. Крестьяне спрашивали, где сажать, когда сеять, будет ли град. Она отвечала коротко и точно. Ни разу не ошиблась. Но после каждого такого разговора люди уходили с выражением, похожим на то, с каким Гюстав и Берта когда-то стояли над ямой: и благодарны, и встревожены, и чувствуют, что соприкоснулись с чем-то, чего не понять.

Отец Кассьен, постаревший и ещё более тощий, наблюдал за этим с растущим беспокойством. Он написал в епархию четырнадцать писем по поводу Аделаиды — в первых пяти он описывал её как возможную одарённую, в следующих четырёх — как возможную одержимую, а в последних пяти — как явление, для которого у него нет категории. Из епархии ответили дважды: первый раз — запросив дату рождения девочки и род занятий отца, второй раз — прислав брошюру о вреде деревенских суеверий. Отец Кассьен положил брошюру на полку, рядом с предыдущей брошюрой о том же предмете, и впервые в жизни позволил себе усомниться — не в Боге, а в почтовой системе.

Когда Аделаиде исполнилось четырнадцать, куст за домом зацвёл.

Это случилось в ночь весеннего равноденствия, и цветы были те самые — белые, восковые, с тяжёлыми лепестками, пахнущие землёй и перегноем. Их было семь. Каждый размером с блюдце. Они раскрылись одновременно, в тот момент, когда длина дня сравнялась с длиной ночи, и Берта, вышедшая во двор на шум — хотя шума, строго говоря, не было, — увидела, что дочь стоит перед кустом босиком на мёрзлой земле и плачет.

Берта никогда прежде не видела, чтобы Аделаида плакала.

— Что случилось?

— Он зовёт. Они все зовут. Они хотят выйти, но не могут, потому что наверху всё ещё не прогнило до конца.

Берта стояла рядом с дочерью, и в ней боролись две силы — материнский страх и та крестьянская честность, которая не позволяет отворачиваться от того, что стоит прямо перед тобой, даже если это нечто такое, чего быть не должно. Она обняла дочь, увела в дом, напоила горячим молоком и уложила спать. Цветы к утру опали. Берта собрала их, завернула в тряпицу и, помедлив, положила на чердак, в жестяную коробку из-под леденцов.

На этот раз она не стала выбрасывать.

Гюстав умер в пятьдесят три года, тихо и без драмы — сердце остановилось во сне, осенью, в сезон дождей. Врач сказал, что сердце было изношено, как у человека, который всю жизнь носил что-то слишком тяжёлое. Берта не плакала на похоронах — она считала слёзы расточительством, сродни тому, чтобы лить масло на землю. Аделаиде было девятнадцать. Она стояла у могилы и смотрела не на гроб, а вниз, в землю, с тем выражением сосредоточенного внимания, с каким слушают чужой разговор через стену.

После похорон она сказала матери:

— Отец теперь там, где они. Но он не такой, как они. Он просто рядом.

Берта вскрикнула:

— Замолчи.

И Аделаида замолчала — надолго.

Она устроилась на почту, где сортировала письма и посылки, и работа эта, монотонная и точная, видимо, подходила ей: она обращалась с чужой корреспонденцией бережно, как с семенами, и ни одно письмо, прошедшее через её руки, не потерялось и не задержалось. Она снимала комнату в городе, приезжала к матери по воскресеньям, ела суп, помогала в огороде и ни разу не подходила к кусту — хотя куст, надо заметить, тянулся к ней. Это заметила Берта: ветви его всегда были повёрнуты в ту сторону, где находилась Аделаида, как подсолнухи поворачиваются за солнцем.

Берта старела. Дом ветшал. Крыша снова начала протекать, на этот раз в шести местах. Сырость в стенах стала такой, что обои отходили целыми полосами, обнажая штукатурку, по которой шли тёмно-зелёные разводы — не плесень, нет: что-то более упорядоченное, почти узорное, напоминающее переплетение корней или жилки на изнанке листа. Берта не обращала на них внимания. У неё были другие заботы — ревматизм, одиночество, дорожающий хлеб.

Перпетуя к тому времени давно умерла — утонула в собственном колодце при невыясненных обстоятельствах, и кантон лишился главного источника сплетен, так что о подземном

старике помнили уже только самые пожилые, да и те путали подробности. Кто-то говорил, что старик был великаном, кто-то — что карликом. Кто-то утверждал, что он говорил на неизвестном языке, хотя старик, как мы помним, не произнёс ни единого слова. Одна версия гласила, что Берта и Гюстав съели его, — и эта версия, при всей своей абсурдности, пользовалась определённой популярностью, потому что объясняла и размер тыкв, и зелёные глаза Аделаиды, и вообще всё.

# Переводчик зверя

В ту зиму я жил на верхнем этаже дома. Хозяйка сдавала мне комнату за три рубля в месяц и право пользования помойным ведром на площадке. Крыша текла, и по стене, от печной трубы до пола, расползалось коричневатое пятно.

Меня наняли переводить книгу французского врача — трактат о нервных болезнях, о соматическом безумии. Автор, некий доктор Б., описывал случаи, когда человек начинал чувствовать в себе присутствие иного существа. Пациенты говорили: во мне кто-то есть, кто-то дышит моими лёгкими, кто-то жуёт моим ртом. Доктор Б. полагал, что это расщепление нервного тока, короткое замыкание в проводке сознания. Но я думал иначе.

Каждую ночь, лёжа на продавленном диване, я слушал, как что-то шевелится у меня за грудиной — не сердце, нет, что-то крупнее, чем сердце, — и это что-то хотело выйти.

Перевод шёл туго. Доктор Б. писал тяжёлым, казённым слогом, и каждую фразу надо было не просто передать, а переложить — как перекладывают из одного тела в другое, сохраняя жизнь. Я работал ночами, при свете тусклой лампы. Кофе у меня не было. Чай был — дешёвый, да еще и заваренный в третий раз.

К середине января я добрался до главы о зоантропии — превращении человека в животное. Доктор Б. приводил показания солдата, вернувшегося из колониальной войны в Алжире. Солдат утверждал, что в пустыне, во время марша, он почувствовал, как в него вошло существо — огромное, тёмное, тяжёлое, — и с тех пор не мог с ним расстаться. Он ел сырое мясо. Он принюхивался к запахам с таким напряжением, что нос у него кровоточил. Ночами он стоял на четвереньках возле койки и выл — не от боли, не от отчаяния, — а потому что выть было необходимо, как необходимо дышать. Доктор Б. диагностировал помешательство, вызванное тропической лихорадкой и болевым шоком. Я перевёл это иначе. Я написал: «Он обнаружил в себе соседа, который жил в нём всегда, но доселе соблюдал приличия».

Мой заказчик — старик Гехт, владелец небольшой типографии на Обводном канале — был человек скрупулёзный. Каждую неделю я приносил ему пачку исписанных листов, и он, не снимая очков, просматривал их, шевеля беззвучно губами. Он платил мало, но платил вовремя.

Однажды — это было в начале февраля, в тот самый день, когда температура упала до двадцати восьми градусов и моя печка отказалась гореть — я встретил женщину. Она стояла у книжной лавки на Владимирском, в собольей шубе, и листала томик, прижимая его к меховому воротнику, — и оттого, что она наклоняла голову, я видел её затылок с двумя родинками, чуть ниже роста волос.

Её звали Дора. Она была женой промышленника — фамилию я забыл, — и занималась тем, чем занимаются жёны промышленников в этом городе: собирала фарфор, посещала лекции, читала книги, которых не понимала, — и всё это с жадностью, от которой рябило в глазах. Жадность её была особого свойства — не вещная, не денежная, а та, которую греки, должно быть, ощущали перед входом в храм: потребность в том, что больше тебя, что раздвинет кости твоего черепа.

Она попросила меня — я не помню, каким образом она узнала, что я переводчик, — прочитать ей несколько страниц из доктора Б., и я прочитал. Мы сидели в её гостиной, в креслах с высокими спинками, обитых зелёным бархатом, и я читал вслух про солдата, который стоял на четвереньках и выл. Она слушала не двигаясь. Лицо её было неподвижно, но что-то в нём изменилось — не выражение, не цвет, а сама структура: словно кости под кожей перестроились, приняв конфигурацию, которой прежде не было. Я подумал тогда — и не отказываюсь от этого подозрения до сих пор, — что она узнала в описании солдата нечто знакомое. Не понаслышке знакомое.

После этого я стал приходить к ней каждую субботу. Я читал ей вслух, она слушала, и между нами установилось молчаливое соглашение: мы не обсуждали прочитанное. Слова, покинув мои губы, повисали в зелёном бархатном воздухе гостиной, как чучела, — и мы оба смотрели на них, как на препарированных птиц, сохранивших форму полёта, но утративших всё прочее.

Муж её, когда появлялся, был вежливым и отсутствующим. Он смотрел сквозь меня, как смотрят через стекло, за которым происходит нечто заслуживающее внимания, — но не на само стекло. Однажды, уходя, он оставил на столике у двери перчатки — тёмные, из мягкой замши — и я, провожая его взглядом, увидел, что на правой перчатке, в том месте, где должен быть ноготь указательного пальца, кожа была стёрта до дыры.

Я не стал задавать вопросов.

Тем временем перевод доктора Б. подходил к концу. Последняя глава называлась — в моём переводе — «Инкорпорация». Доктор Б. описывал процесс, при котором существо, поселившееся в человеке, начинало не сосуществовать с ним, а замещать его. Позвонок за позвонком, мышца за мышцей, — тело человека перестраивалось под нового обитателя. Доктор Б. приводил анатомические детали: смещение тазовых костей, утолщение фаланг, изменение угла наклона черепа относительно шейных позвонков. Он писал, что пациенты, достигшие этой стадии, утрачивали способность плакать. Слёзы, по мнению доктора, были исключительно человеческим секретом — и первым, от чего отказывалось тело, впускавшее в себя зверя.

Я переводил эту главу в ночь на двадцать второе февраля — в ту самую ночь, когда моя печка, наконец, разгорелась так жарко, что треснула чугунная задвижка и по комнате пополз запах дыма. Я открыл окно. В комнату хлынул мороз. Я стоял у окна, переводя последний абзац, и чувствовал, как что-то за грудиной разворачивается, поднимается, принимает вертикальное положение.

Доктор Б. заканчивал так: «Финальная стадия не зафиксирована ни в одном документированном случае. Можно предположить, что на этой стадии процесс необратим — но подобное предположение выходит за рамки медицинской этики и остаётся, по необходимости, в области спекуляции».

Я перевёл иначе. Я написал: «Финальная стадия не зафиксирована, поскольку наблюдать её уже некому».

Я отложил перо. Мороз стоял у окна, как гость, ожидающий приглашения. В соседнем доме кто-то играл на фортепиано — фальшивя, с настойчивостью, граничащей с безумием, — одну и ту же фразу, снова и снова, не в силах перешагнуть через квинту. Я думал о солдате из Алжира, о том, как он стоял на четвереньках у чужой кровати, — и впервые за всё время перевода задумался не о нём, а о существе, которое в нём жило. Каково ему — тому, другому, — быть запертым в чужом теле десятилетиями, ждать, когда тело наконец сдастся, обмякнет, распахнёт двери?

Я подумал о Доре. О том, как она слушала мой перевод, не двигаясь, — и о двух родинках на её затылке, которые были глазами, — и о том, что, может быть, она в описании солдата того, кто жил в ней, — того, кто жил во всех нас, — того, кого доктор Б. не осмелился назвать, потому что для этого имени нет медицинского термина.

Я закрыл тетрадь. Печка трещала, мороз стоял у окна, фортепианная фраза всё не могла перешагнуть через квинту. За грудиной моей что-то шевельнулось — не сердце, нет, что-то крупнее, — и легло, свернувшись, и замерло, и я почувствовал его тепло — древнее, нелюдское тепло, — и мне стало хорошо.

Я отнёс готовый перевод Гехту в четверг, когда над Обводным каналом стоял туман густотой, какой не бывает даже в этих краях, — туман, который не столько окутывал предметы, сколько замещал их. Дома не было видно. Было видно только туман, и он был всем.

Гехт принял тетради, не снимая очков, и, как обычно, начал листать, шевеля губами. Но на этот раз он остановился на последней странице — той, где я отступил от оригинала, — и задержался на ней долго. Потом снял очки. Без них лицо его стало иным — моложе, мягче, почти детским, — и от этой перемены он сам, казалось, смутился.

— Вы не перевели, — сказал он.

— Я перевел.

— Вы изменили.

— Точнее.

Он посмотрел на меня — долго, оценивающе, — и потом сказал нечто, чего я не ждал.

— Вы знали кого-нибудь из таких людей?

Я не ответил. Он не повторил вопроса. Он достал из ящика стола деньги — аккуратную пачку, перетянутую резинкой, — и отсчитал ровно столько, сколько полагалось, не больше и не меньше, и я подумал тогда, что старик Гехт, должно быть, всю жизнь платил людям ровно столько, сколько они заслуживали, — ни копейкой больше, — и в этом была не скупость, а какое-то жёсткое, почти хирургическое уважение к справедливости, которой он придерживался, как придерживаются веры, — не любя её, но и не смея отступить.

Я ушёл из типографии и не пошёл домой. Я пошёл к Доре — не в субботу, как обычно, а в четверг, без приглашения, без предупреждения. Я знал, что это нельзя. Я знал, что она не ждёт. Но что-то во мне — не я сам, а то другое, то, что жило за грудиной, — подталкивало меня вперёд с такой силой, что я шёл, не чувствуя ног, как плывёт человек, унесённый течением, когда уже поздно грести и остаётся лишь следить за тем, как мимо проплывают берега.

Дом её стоял на Малой Морской — каменный, двухэтажный, с мезонином, обвитым мёртвым плющом, который к зиме превратился в чёрную сетку, наложенную на стену, как татуировка на старческой коже. Дверь открыла горничная — молчаливая, круглая, с лицом, на котором не было написано ничего, кроме привычки подчиняться. Она проводила меня в гостиную и ушла, не спросив имени.

Дора сидела в том же кресле, что и всегда, — с высокой зелёной спинкой, — но кресло, казалось, поглотило её: она осела в нём, уменьшилась, и платье её, серое, шерстяное, с высоким воротником, смялось вокруг тела, как шкура, которую сняли, но не досняли.

— Вы пришли не в субботу, — сказала она.

— Я закончил перевод.

— И принесли его мне?

— Нет. Я принёс себя.

Она не ответила. Она смотрела на меня тем взглядом, которым смотрят на вещь, которую долго искали.

Я сел напротив и стал рассказывать ей о последней главе, пересказывая своими словами, — и пока я говорил, я чувствовал, как за грудиной моей поднимается то самое существо, то крупное, тёплое, древнее, — и оно слушало вместе со мной, оно слушало меня изнутри, как слушает старший брат младшего, — с терпением, с привычкой, с той особой нежностью, которая возможна лишь между существами, связанными одной кровью.

Когда я кончил, Дора встала. Она подошла к окну — низкому, с мутным стеклом, — и долго смотрела на улицу, на туман, на прохожих, которых не было видно. Потом она обернулась, и я увидел, что лицо её изменилось — не выражение, не цвет, а сама структура, — точно так же, как в тот первый раз, когда я читал ей про алжирского солдата. Кости под кожей перестроились, приняв конфигурацию, которой прежде не было. И в этот раз я разглядел эту конфигурацию отчётливо: скулы раздвинулись, лоб стал шире, челюсть выступила вперёд, — и на долю секунды — не больше — передо мной стояла не женщина, а нечто иное, нечто, что смотрело на меня из-под её лица, как смотрит из-под маски тот, кто надел маску не ради обмана, а ради защиты.

— Мой муж, — сказала Дора, — тоже переводил.

— С какого языка?

— Ни с какого. Он переводил себя. Каждый день, каждый час. Он перекладывал себя из одного состояния в другое — из мужа в промышленника, из промышленника в гражданина, из гражданина в молитвенника, — и каждый раз терял слой, как теряют кожу при ожоге. К утру воскресенья от него оставалась одна нервная ткань — обнажённая, беззащитная, болезненно чувствительная. И тогда он надевал перчатки.

Я вспомнил правую перчатку — стёртую до дыры в том месте, где приходится ноготь указательного пальца.

— Он точил о них когти, — сказал я.

— Нет. Он отращивал их.

Она сказала это спокойно, без дрожи, без надрыва, — как сообщают расписание поездов, — и в этом спокойствии было нечто более страшное, чем любая истерика. Потому что истерика — это крик живого человека, а её спокойствие было криком человека, который давно уже перестал кричать, — не потому что ему не больно, а потому что он обнаружил: крик не помогает.

— Он знает, — продолжила она, — что вы ходите сюда по субботам. Он не возражает. Он считает, что это полезно — для меня. Он говорит: пусть слушает, пусть привыкает к чужому голосу, — потому что однажды чужой голос станет её собственным, и тогда она поймёт.

— Поймёт что?

— Что происходит.

Я хотел спросить, что именно происходит, но не спросил. Потому что в тот момент — именно в тот момент, — когда я набрал воздух в лёгкие, чтобы произнести вопрос, — за моей грудиной развернулось то существо, и оно не просто шевельнулось, а встало, поднялось, выпрямилось, — и я почувствовал его рост, его вес, его дыхание, — и оно было больше меня, оно было старше меня, оно было мною в той степени, в какой река принадлежит руслу, которое она сама же и промыла.

Дора увидела это. Я не знаю, каким образом — может быть, по моим глазам, может быть, по тому, как я стоял, — но она увидела, и лицо её стало вдруг абсолютно гладким, как у младенца, как у того, кто ещё не родился.

— Вот оно, — сказала она.

— Что?

— Переводчик.

Она подошла ближе. Она стояла надо мной — я сидел, она стояла — и смотрела мне в лицо, и я видел, как в её зрачках, в чёрных глубинах этих кругов, шевелится нечто — не отражение, не свет, — а живое, подвижное, самостоятельное, — и это нечто смотрело мне в глаза, и оно не было ею, и оно не было мной, и оно не было третьим, — оно было тем, что между, — тем, что возникает, когда два существа, в которых поселился зверь, оказываются рядом, — не зверь каждого из них, а зверь обоих, — общий, — порождённый сближением, как искра порождается трением.

Мы стояли так — не знаю сколько. Минуту, может быть, десять. Туман за окном оставался. Фортепиано где-то вдалеке всё ещё долбило одну и ту же фразу, всё ещё не могло перешагнуть через квинту, — и я вдруг понял, что пианист не фальшивит и не ошибается, — он намеренно застревает, он не даёт фразе завершиться, потому что завершение — это смерть мелодии, и он держит её на краю, на пороге, — и в этом удержании, в этом бесконечном, невозможном удержании, — и есть музыка.

Дора отвернулась первой. Она вернулась к креслу, села, сложила руки на коленях — аккуратно, симметрично, как складывают руки перед операцией.

— Приходите в субботу, — сказала она. — Муж хочет с вами познакомиться.

Я вышел из дома на Малой Морской и зашагал по пустой улице, и туман обволакивал меня, и я шёл, не чувствуя ног, — и за грудиной моей существо лежало, свернувшись, и дышало, и было мне тепло.

На углу я остановился. В витрине мясной лавки висел туша — разрубленная, распятая на крюках, — и в ней, в разрезе, виднелась кость, белая, гладкая, — и я подумал, что когда-то внутри этой кости было нечто живое, нечто, что двигало тушу по полю, что чувствовало ветер и дождь, — и от этого живого не осталось ничего, — кроме кости, — и кость не помнит.

Я пошёл дальше. Дома меня ждала прачечная, мокрые стены, пятно на стене, — и я знал, что сегодня ночью, лёжа на продавленном диване, я буду слушать, как за грудиной моей шевелится то, что больше сердца, — и оно будет расти, и оно будет ждать, — и однажды оно поднимется и выйдет, — и тогда, может быть, фортепианная фраза наконец перешагнёт через квинту, — и мелодия завершится, — и наступит тишина.

Но не сегодня. Сегодня ещё не сегодня.

В субботу я пришёл к Доре. Дверь открыл он сам, а не горничная.

Невысокий. Руки — длинные, чуть ниже колен. Лицо тёмное, как у тех, кто провёл жизнь в цехах, где не бывает солнца, но бывает жар, — и жар этот въедается в кожу, как копоть в кирпич. Пожал руку. Пальцы — сухие, жёсткие, с мозолями на подушечках — не от работы, от привычки сжимать что-то по ночам.

— Фальк, — сказал он.

Повёл в кабинет. Не в гостиную — в кабинет, вниз, на первый этаж, окнами во двор. Книг не было. Были карты — географические, зоологические, анатомические — развешанные на стенах от пола до потолка, и карты эти были исписаны от руки, поверх печатного текста, мелким, угловатым почерком, каким пишут люди, привыкшие делать пометки на полях, — но пометки здесь расползлись, заполнили всё свободное пространство.

Фальк сел за стол. На столе — пусто, кроме стакана с водой и ножа. Нож — перочинный, костяной черенок, лезвие закопчённое.

— Дора говорит, вы переводили трактат о превращениях.

Я кивнул.

— Прочтите мне последнюю страницу.

Я прочёл. Свою версию — не доктора Б. Он слушал, не двигаясь. Руки его лежали на столе, и я видел ногти — тёмные, утолщённые, с загнутыми краями. Не человеческие ногти. Ногти того, кто роет.

Когда я кончил, он взял нож и положил его между нами — не угрожающе, а как кладут предмет, который имеет отношение к делу.

— Врач не додумал, — сказал он. — Он остановился на телесном. Кости, позвонки, фаланги. Он думал, зверь перестраивает тело.

— А вы?

— Тело — последнее. Он начинает с памяти.

Тут он замолчал. За окном во дворе скреблась метла — дворник мел снег, уже серый, спрессованный, — и звук метлы был таким знакомым, таким каждодневным, что я на мгновение забыл, где сижу, — а когда вернулся, Фальк уже говорил другое.

— Вы знаете, что такое зоологическая карта?

— Карта ареалов.

— Нет. Карта того, что осталось. Берёте карту Европы. Обозначаете места, где видели волков двести лет назад. Потом — сто лет назад. Потом — сегодня. Слои накладываются. Волки отступают. И вы видите не карту волков — вы видите карту их исчезновения. Контур потери. Вот это и есть зоологическая карта.

Он взял стакан, отпил.

— С памятью то же самое. Зверь не стирает её — он накладывает свою. Слой за слоем. Вы помните, как ели кашу в детстве. Потом — как ели мясо вчера. Потом — как ели траву, кору, падаль. Слои. И однажды вы не можете вспомнить, какая память ваша, а какая — его.

— Откуда вы знаете?

Он посмотрел на меня — прямо, без уклонения, — и в его зрачках я увидел то же, что видел у Доры: шевелящееся, живое, самостоятельное.

— Я — переводчик, — сказал он. — Такой же, как вы. Только с другого языка.

Дора вошла. Несла поднос — чай, хлеб, масло, мёд в белой пиале. Поставила. Ушла. Я заметил, что она не смотрит на мужа. Не отвращение — привычка. Как не смотрят на то, что видят изнутри.

— Мне нужен ваш язык, — сказал Фальк.

— Зачем?

— Мне нужно перевести то, что он говорит.

— Кто?

— Тот, кто во мне.

Он встал, подошёл к стене, указал на одну из карт — зоологическую, Кавказ, конец восемнадцатого века. На ней, поверх печатных обозначений, была нарисована фигура — не животное, не человек, а нечто среднее, на четвереньках, с вытянутой мордой и человеческими руками. Рисунок был сделан тушью, мелко, с такой точностью, что я различил каждую шерстинку на загривке.

— Мне нужно перевести его речь, — повторил Фальк. — Он говорит — я слышу. Но не понимаю. Слова — не слова. Это другой лексикон. Вы переводили врача, который описывал такие случаи. Значит, вы знаете этот лексикон.

— Я знаю слова врача. Не зверя.

— Это почти одно и то же.

Я не стал спорить. Я взял хлеб, намазал маслом, откусил. Масло было прогорклое, хлеб чёрствый, — но жевать было приятно, и я жевал, и пока жевал, слушал дворника за окном, — метла скреблась по камню, поскрипывала, — и в этом поскрипывании слышался тот же ритм, что и в фортепианной фразе из моего переулка, — настойчивый, застрявший на пороге.

— Завтра, — сказал я.

— Завтра?

— Я приду завтра. Принесу тетрадь. Буду записывать то, что вы скажете. Без редактирования. Потом — попробую перевести.

Он кивнул. Руки его лежали на коленях, и я видел, как пальцы — медленно, незаметно — сжимаются, вцепляясь в ткань брюк, — и в этом сжатии было не нетерпение, а сила, которую с трудом удерживают.

Я ушёл. На лестнице стояла Дора. Она протянула мне завёрнутые в газету бутерброды.

— Ешьте по дороге, — сказала она. — Завтра будет трудно.

Я взял свёрток. Наши пальцы соприкоснулись — на мгновение, не дольше, — и я почувствовал в её коже дрожь, не человеческую дрожь, а ту, которой дрожит натянутая струна, — и струна эта была натянута до отказа, и разрыв её была делом ближайших часов, и я знал, что когда она разорвется, звук будет таким, что лопнет стекло.

Я вышел в туман. Бутерброды были с селёдкой. Я ел их на ходу, и туман обволакивал, и за грудиной моей существо лежало, свернувшись, — но уже теснее, уже плотнее, уже ближе к поверхности.

Дома я сел за стол. Достал тетрадь — новую, чистую, в коричневой обложке. Написал на первой странице:

«Перевод с звериного»

И зачеркнул. Написал снова:

«Перевод с того, что было до слов»

И оставил.

На следующий день я пришёл к Фальку с тетрадью. Дора не встретила меня на лестнице. Дверь была открыта.

В кабинете горела одна лампа — на столе, под зелёным абажуром, — и свет её падал узким кругом, захватывая край стола, стакан с водой, нож с костяным черенком, — и всё остальное тонуло в полутьме. Карты на стенах превратились в пятна — бурые, серые, чёрные, — и пятна эти казались живыми, они сдвигались, если смотреть краем глаза.

Фальк сидел. Не за столом — перед столом, на полу, скрестив ноги. Рубашка расстёгнута. На груди — тёмные волосы, и среди волос — шрам, длинный, вертикальный, от яремной впадины до солнечного сплетения. Шрам был старый, белый, втянутый внутрь.

— Садитесь, — сказал он.

Я сел на единственное кресло — кожаное, с продавленным сиденьем, — и открыл тетрадь. Ручка была с обгрызенным концом. Я взял её и ждал.

— Он говорит через мой затылок, — сказал Фальк. — Я поворачиваюсь спиной — и слышу отчётливее. Не оборачивайтесь. Записывайте.

Он встал, развернулся ко мне спиной, опустился на колени. Я видел его лопатки — под рубашкой они двигались, расходились, сходились, — как лопатки зверя, который собирается рычать.

Он начал.

Не слова. Звук — глухой, гортанный, идущий откуда-то из утробы, — и в этом звуке была структура. Но не человеческая. Как шаги по грязи. Как звук, который издаёт земля, когда в неё вонзают лопату.

Я записывал. Буквы не подходили — ни одна буква не передавала этот звук, — но я записывал, подбирая ближайшие сочетания, и ручка скрипела по бумаге, и бумага рвалась, и я нажимал сильнее, и пальцы у меня немели, и всё же я записывал, — потому что за каждым звуком, за каждым скрипом бумаги, стоял смысл, — не словесный, не мыслительный, — а телесный: мне хотелось есть, мне хотелось бежать, мне хотелось вонзить зубы в что-то тёплое и живое.

Звук прекратился.

Фальк повернулся. Лицо его было мокрым — не от пота, от слёз, — но плакал он не по-человечески: глаза были сухие, слёзы текли из уголков, густые, тягучие, чуть желтоватые.

— Прочтите.

Я посмотрел в тетрадь. То, что я записал, было бессмысленно — сочетания согласных, обрывки слогов, повторяющиеся цепочки, — но, читая вслух, я слышал, как мой голос меняется, грубеет, опускается в горло, — и слова эти, бессмысленные на бумаге, обретали плоть в воздухе, — они были не словами, а следами, — отпечатками лап на влажной глине.

Фальк слушал. Потом сказал:

— Ещё.

Я прочёл снова. И снова. И снова. Каждый раз звук был иным — те же буквы, но иной голос, иное дыхание, — и к третьему прочтению я понял, что читаю не я, — что во мне поднимается то существо, то, что жило за грудиной, — и оно читает моим ртом, и оно знает этот язык, и оно знало его всегда, — задолго до меня, задолго до моего тела, задолго до всего, что я помню.

Фальк поднял руку.

— Хватит.

Я замолчал. Тишина заполнила комнату, как вода заполняет лодку, — и мы сидели в этой тишине, и не двигались, и не дышали, — а если и дышали, то не своими лёгкими.

— Вы слышите его? — спросил Фальк.

— Кого?

— Того, кто читал.

Я не ответил.

— Он сильнее, чем я думал, — сказал Фальк. — Обычно он выходит ночью. Сейчас — день. Значит, ему уже не нужно ждать.

Он встал, подошёл к стене, снял одну из карт — зоологическую, Карпаты, — и перевернул. На обратной стороне был рисунок. Не тушью — кровью, засохшей, коричневой. Рисунок изображал двух существ, стоящих друг напротив друга на задних лапах. Между ними — третье, маленькое, свернувшееся, с человеческим лицом.

— Это — порождение сближения. Не его, не вашего — общее, — сказал Фальк, указав на третье существо.

Я вспомнил Дору, её слова: то, что между. И вспомнил зрачки и понял, что она видела не его зверя и не моего, а того третьего, который рождается в момент сближения, — как искра, как дитя, как звук, который возникает, когда два инструмента играют одну ноту, — и этот звук не принадлежит ни одному из них, он — третьего.

— Вы хотите, чтобы я перевёл его речь, — сказал я.

— Нет. Я хочу, чтобы вы перевели его молчание.

Я не понял. Он увидел, что я не понял, и не стал объяснять. Он взял нож, повернул лезвие к свету, — и в лезвии отразилось моё лицо, — но лицо это было иным, — черты те же, а выражение другое, — выражение того, кто смотрит из-под, — того, кто ждёт.

— Он молчит, когда насыщен, — сказал Фальк. — Когда ему не нужно говорить. Когда он уже здесь — целиком, — ему не нужны слова. Слова — это голод. Молчание — это сытость.

— И что мне переводить?

— Границу. Момент, когда голод кончается и начинается сытость. Там — слом. Там — стык. Там — место, где один язык кончается и начинается другой.

Он положил нож на стол.

— Приходите завтра. И послезавтра. И каждый день, пока не получится.

Я вышел из кабинета. В прихожей стояла Дора — в шубе, в шапке, с красными от мороза щеками. Она возвращалась откуда-то — из церкви, может, или с рынка, — и в руках у неё был свёрток, и свёрток был мокрый, и из него капало на паркет.

— Он рассказал про молчание? — спросила она.

— Да.

— Не верьте ему. Он не знает, что такое молчание. Он слышит зверя даже тогда, когда зверь молчит.

Она прошла мимо меня, и свёрток зацепил мою руку, — и я почувствовал запах: сырое мясо, кровь. Она несла мясо.

Я вышел на улицу. Снег скрипел под ногами. Я шёл и думал не о Фальке, не о звере, не о молчании, — я думал о мясе. О том, как оно пахнет. О том, каково его трогать. О том, как оно выглядит, когда его разрезают.

И за грудиной моей существо лежало, свернувшись, — и оно было сытое.

На следующий день я не пошёл к Фальку. Я проснулся поздно — солнце уже стояло над крышами — и лежал на диване, не двигаясь, и слушал. За грудиной моей было тихо. Но это та тишина, которая бывает в лесу, когда зверь замер, затаился, — и вы знаете, что он здесь, — но не слышите, — и от этого мурашки ползут по позвоночнику, и хочется бежать, но бежать некуда, потому что зверь — внутри, и бежать можно только от себя, а от себя не убежишь.

Я встал. Печка не горела. Комната была холодной, и стена, от печной трубы до пола, покрылась инеем, и пятно, которое расползалось с осени, теперь скрылось под ним. Я смотрел на это пятно и думал о том, что всё, что гниёт, в конце концов покрывается белым — плесенью,

снегом, пеплом, — и белый цвет — это не чистота, а забвение, — и забвение — это замещение одного слоя другим.

Я умылся. Вода из крана была ледяная. Я посмотрел в зеркало. Лицо моё было тем же — нос, рот, глаза, — но что-то в нём сдвинулось. Не черты — расстояние между ними. Лоб стал шире. Челюсть выступила вперёд. Я не стал присматриваться. Я знал, что если присмотрюсь — увижу больше, чем хочу, — и тогда придётся либо признать, либо отвергнуть, — а оба эти пути ведут в одно место: к той точке, где слова кончаются.

Я вышел на улицу. Туман рассеялся. Люди шли, пригнувшись, — не от холода, а от тяжести, которая сверху, — тяжести, которую не видишь, но чувствуешь затылком, — как чувствуют чужой взгляд.

Я шёл к Обводному каналу. К Гехту. Я не знал, зачем иду, — но ноги несли, и я не спорил с ними, — потому что ноги знают лучше, чем голова, — голова помнит слова, а ноги — дороги, — и дороги честнее слов.

Гехт сидел в типографии.

— Вы не приходили вчера, — сказал он.

— Я был занят.

— С Фальком?

Я не ответил. Он снял очки.

— Я знал его отца, — сказал Гехт. — Он тоже переводил. Не книги — себя. Каждый день перекладывал себя из одного состояния в другое. Из рабочего — в хозяина. Из хозяина — в семьянина. Из семьянина — в старика. И каждый раз терял слой. К концу от него осталась одна кожа — да и та была не его.

— Откуда вы знаете?

— Я печатал его переводы.

Он встал, подошёл к стене, снял рамку — под стеклом лежал лист, исписанный мелким, угловатым почерком, — таким же, как на картах в кабинете Фалька.

— Это — его последний перевод, — сказал Гехт. — Он принёс его мне за неделю до смерти. Я не стал печатать. Из-за страха.

Я взял лист. Почерк был неразборчив — буквы сливались, перетекали одна в другую, — и я не мог прочитать ни слова, — но, глядя на эти буквы, я чувствовал, как что-то во мне откликается, — не разум, не память, — а то существо, то, что жило за грудиной, — оно шевелилось, оно тянулось к этим буквам, как тянется к запаху, — и я понял, что буквы эти — не буквы, а следы, — отпечатки лап на бумаге.

— Он умер не своей смертью, — сказал Гехт. — Он умер смертью того, кто в нём жил. Врач написал: остановка сердца. Я видел его тело. Оно было иным — не человеческим. Пальцы — длинные, с загнутыми ногтями. Челюсть — выступающая. Лоб — низкий. Он умер, и зверь вышел, — но вышел не наружу, а внутрь, — глубже, — в кость, в мозг, в ту часть, которая не умирает, — и теперь он здесь, — в этих буквах, — и когда вы читаете их, он смотрит.

Я положил лист на стол. Руки мои не дрожали.

— Зачем вы мне это показали? — спросил я.

— Чтобы вы знали, что будет, — сказал Гехт. — Не чтобы вы остановились. Чтобы вы знали.

Он надел очки.

Я ушёл из типографии.

И пошёл к Доре. Я шёл, и ноги несли, и я не спорил, — потому что спорить было поздно, — и я знал это, — и зверь знал это, — и мы шли вместе, — не рядом, а внутри друг друга, — как два существа, которые давно уже не различаются, — как река и русло, — как кость и костный мозг, — как слово и смысл.

Я вернулся в свою комнату затемно. Лёг, не раздеваясь.

Под утро из соседнего дома снова донеслось фортепиано.

Та же нота.

Тот же осторожный подъём.

Та же квинта.

Я ждал, что пианист, как прежде, остановится на краю и вернётся назад. Но на этот раз мелодия пошла дальше.

Прозвучал последний аккорд.

Потом наступила тишина.

Я знал: перевод завершён.

Не потому, что зверь заговорил.

А потому, что человек наконец замолчал.

# Часть II. Право на имя

## Бронзовые зеркала

Тот, кого позднее стали звать Саидом-Песочным, явился в городок Эль-Каньявераль в канун лунного затмения. Он не взбирался на стол. Его алтарём служил круг, выложенный из разноцветного песка на площади перед церковью Святого Исидора, колокол которой отбивал время с запинками, словно старый дьякон, забывающий молитву. Вместо змеиного яда он торговал чем-то куда более коварным: ощущением достоверности. Саид был невысок, сутуловат; его пальцы, длинные и всегда в движении, казались отдельными существами, живущими своей особой жизнью. На нём не было бархатных подтяжек, но было халата с узорами павлиньего хвоста, менявшего оттенки в зависимости от света.

Он вывалил из мешка на песок не пузырьки, а десятки мелких, безукоризненно отполированных бронзовых зеркал. Каждое — размером с детскую ладонь.

— Дамы и господа, — сказал он голосом ровным и глубоким, — я не продаю отражения. Я продаю инструменты для правки кривизны мира. Каждое из этих зеркал отшлифовано песком из семи пустынь и способно показать не то, что есть, а то, чем предмет или лицо могли бы быть, не искриви их порча, сглаз или собственная фальшь.

Говорил он это без тени циркового пафоса, скорее как учитель, объясняющий аксиому. Городок, привыкший к странствующим торговцам волшебством, насторожился. Его заявление было не столько дерзким, сколько непостижимым.

Для демонстрации он позвал мясника, Себастьяна Толстого, человека, чья рука не дрожала, когда он рубил бычью тушу, но чьё лицо словно было вылеплено из того же серого теста, что и его будни. Саид поднёс к его глазу одно из бронзовых зеркалец.

— Смотрите, — шепнул он так, что это услышали все. — Не на отражение. Сквозь него.

Себастьян смотрел долго. Потом его губы, всегда плотно сжатые, задрожали.

— Я вижу... — он сглотнул. — Я вижу, как строю корабль. Маленький, из кедра. А на носу... резная фигура лисы.

Толпа захихикала. Себастьян, никогда не покидавший пределов уезда, не умел отличить кедр от сосны. Но мясник вдруг заплакал — крупными слезами, — и это было так неожиданно и так искренне, что смех стих. Кто-то принёс воды. Себастьян отёр лицо рукавом и посмотрел на Саида с таким изумлением, словно увидел призрак.

Успех был достигнут. Маленькие зеркала раскупались за медные реалы. Люди уходили с ними, замкнутые в своей сокровенной вселенной обретённого соответствия. Но настоящий перелом случился, когда зеркало купил сам нотариус, дон Аурелио Мендос, человек, чья жизнь была цепью аккуратно запротоколированных актов. Он посмотрел в него у себя в кабинете, среди стопок бумаг, и увидел, как сидит на берегу моря и плетёт рыболовную сеть. Не рыбак — именно он, нотариус, с его пальцами, привычными к перу, а не к верёвке. Дон Аурелио не заплакал. Он побледнел, тихо встал, вышел из дома, оставив дверь открытой, и пошёл к берегу. Его нашли через три дня на отмели, с мокрыми штанинами и босыми ногами, пытающимся сплести что-то из водорослей. Он бормотал:

— Узел не тот... нить путается...

Его умыли, одели, привели в чувство. Он вернулся к своим бумагам. Но каждый вечер, когда солнце клонилось к закату, выходил на веранду и смотрел на горизонт с таким выражением, словно ожидал увидеть парус.

Горожане разделились на тех, кто видел в Саиде благодетеля, и тех, кто видел в нём соблазнителя, похитителя душ. Священник, отец Исидор, в проповеди назвал бронзовые зер-

кала «ловушками для нарциссов, обращёнными внутрь». Но слова его прозвучали слабо против молчаливого свидетельства сияющих глаз тех, кто обрёл в зеркальцах нечто похожее на утраченный обет. Сам Саид не проповедовал. Он сидел в тени тамаринда, попивал горячую воду с имбирём и записывал что-то в потрёпанную тетрадь.

Я, мальчишка, подававший тогда лошадям воду, стал его невольным спутником. Не учеником — свидетелем. Он не учил меня полировать зеркала. Он говорил, глядя куда-то поверх моей головы:

— Самое трудное — не создать иллюзию, мальчик, а заставить её пустить корни. Чтобы она начала менять саму почву, на которой растёт реальность.

Иногда он позволял мне листать его тетрадь. Там не было заклинаний. Были записи вроде такой:

«Донья Эсперанса сегодня купила зеркало. В нём она увидела, как гладит шёлк. Значит, её муж, сержант, скоро привезёт из похода ткань. Её ожидание уже лепит будущее. Она начнёт двигаться так, будто шёлк у неё в руках. Сержант, увидев это, испугается, что она повредилась умом, и, желая вернуть её к прежней жизни, действительно купит шёлк. Зеркало ничего не предсказывает. Оно лишь даёт желанию форму».

Кульминацией стала история с Алехандрой, дочерью торговца скобяным товаром. Девушка тихая, всегда с опущенными глазами, купив зеркало, увидела в нём себя играющей на скрипке. Она не владела ни одним инструментом. Но видение было так отчётливо, что, вернувшись домой, она принялась мастерить из коробки и проволоки нечто отдалённо напоминающее скрипку и стала водить по ней смычком, извлекая дикие, мучительные звуки. Отец, разъярённый этим безумием, отобрал «инструмент» и разбил его. Алехандра впала в горячку. В бреду она играла — её пальцы двигались в воздухе, а лицо выражало такое сосредоточенное блаженство, что родные в ужасе призвали не только лекаря, но и отца Исидора. Лекарь разводил руками. Священник молился. Саид, узнав об этом, пришёл последним. Он долго смотрел на бредящую девушку, потом тихо сказал:

— Вам нужно просто найти скрипку.

Отец, уже готовый ко всему, послал в соседний город. Привезли старый, расстроенный инструмент. Когда его положили рядом с Алехандрой, горячка стала отступать. Через неделю она сидела на крыльце, и пальцы её, не знавшей нот, сами находили мелодию, которую она прежде увидела в бронзовом зеркале. Играла она плохо, фальшиво, но с такой абсолютной серьёзностью, что это переставало иметь значение.

Именно после этого Саида-Песочного начали бояться по-настоящему. Не как шарлатана, а как человека, дёргающего за нити — невидимые, но крепкие. Он создавал не картины, а боковые проходы в самой ткани жизни. Дон Аурелио, потерявший интерес к своим актам, стал угрозой для всего бюрократического уклада. Мясник Себастьян, всё чаще посещавший пристань, начал распродавать имущество. Мир, выстроенный на чётких основаниях — рубить, считать, продавать, — дал трещину.

Противоядием этому стал не проповедник, а контрабандист Родриго по прозвищу Лис. Он явился не с зеркалами, а с ящиком дешёвых, кривых стёкол.

— Посмотрите сюда, граждане! — кричал он, став рядом с кругом Саида. — Не в эту вашу бронзовую муть! Сюда! Видите? Вот ваше настоящее лицо! Вот ваша настоящая комната! Вот ваша настоящая жена, которая точит вам мозги! Не какая-то там лиса на носу корабля, а селёдка на сковородке!

Стёкла его были невзрачными, но отражали узнаваемое, привычное, пусть и некрасивое. Люди, испуганные глубиной бронзовых видений, потянулись к этим кривым осколкам, как к спасательному кругу. В них можно было узнать себя — и успокоиться.

Саид наблюдал за этим с прежним спокойствием. Но я видел, как его пальцы, обычно подвижные, замерли. Он ждал. Конфликт, однако, разрешился не схваткой. Родриго-Лис, хва-

стаясь успехом, пил анисовую водку в трактире. Потом сорвался с крыльца, идя к своей лошади, споткнулся о корыто и упал лицом в кучу навоза. Когда его подняли, он протёр глаза и вдруг завопил не своим голосом:

— Я вижу! Я вижу, как развожу пчёл! Много-много ульев! И мёд цвета янтаря!

Он метался, кричал, звал жену, чтобы та принесла дымарь. Его связали. Анисовая водка, говорили. Белая горячка. Но крики его о пчёлах, о рамках, о матке-королеве были так же конкретны и убедительны, как когда-то плетение сетей дона Аурелио.

Саид встал. Подошёл к обезумевшему контрабандисту и положил ему ладонь на лоб. Родриго умолк, затих. Тогда Саид сказал тихо, но так, что услышали все:

— Он увидел в моём зеркале. Но зеркало было в его руках, а руки — в навозе. Всё смешалось.

Потом вернулся под тамаринд, закрыл тетрадь и сказал мне:

— Пора уходить.

Мы ушли ночью, оставив в городе несколько десятков бронзовых зеркал, каждое из которых продолжало свою тихую, необратимую работу по исправлению искривлений, которые само же и вызывало. Саид больше не торговал. Говорил, что его инструменты нашли хозяев. Мы шли к побережью, и он объяснял мне, что истинное чудо — не увидеть в зеркале лису на носу корабля. Нет. Вот если ты начнешь верить, что можешь быть тем, кто эту лису вырезал, а потом однажды утром обнаружить в своих руках резец и кусок дерева — и не помнить, как они там оказались. Это воистину чудо.

— Зеркало, — сказал он, когда мы проходили мимо старой миссии, заросшей бугенвиллеей, — не окно в иной мир. Это ключ от комнаты, о существовании которой человек давно забыл.

На берегу, перед тем как сесть в утлую лодку контрабандистов, он достал последнее, самое маленькое, бронзовое зеркальце. Оно было размером с монету и почти чёрным от времени.

— Это моё, — сказал он. — В нём я вижу только одно: пустыню. Песок. Никакой лисы, никаких скрипок, никаких кораблей.

Он смотрел в него долго, и в глазах его отражалась грусть. Потом отдал его мне.

— Возьми. Может быть, тебе повезёт больше.

Я посмотрел. В маленьком, тёмном круге увидел только собственное лицо. Но оно было другим: старше, спокойнее, с каким-то необъяснимым знанием в глазах. Я взглянул на Саида, чтобы спросить, что это значит, но его уже не было на берегу. Лодка стала точкой на горизонте, сливаясь с серой полосой предрассветного моря.

Я вернулся в Эль-Каньявераль много лет спустя. Бронзовых зеркал нигде не было. Мясник Себастьян торговал колбасой, с лицом, на котором не осталось и тени лисьего призрака. Дон Аурелио снова аккуратно заверял завещания. Алехандрой звали уже её дочь, игравшую на гитаре так же посредственно, как все остальные. Городок словно вернулся в свою бережно хранимую, проверенную реальность.

А я хранил маленькое тёмное зеркальце. По утрам смотрел в него и видел всегда одно и то же: лицо. Своё — и всё же другое. И за ним — бесконечный пейзаж, которого я никогда не видел, но который почему-то казался мне единственным настоящим домом.

# Собственная поступь

Она никогда не приходила дважды в одном и том же теле. В этом была своя логика, не укладывавшаяся в законы преемственности, но подчинявшаяся более тонкой бухгалтерии. В прошлый раз ее походка была ломкой — так хрустит первый лед под остроносым сапожком, обещая и гибель, и весну разом. Сегодня же она вошла в вагон метрополитена, шаркая, как старая женщина, хотя лицу ее было не больше двадцати пяти. Глаза сидели глубоко и влажно, и в их разрезе, неправильном, словно проведенном дрогнувшей рукой, сквозило знание такого рода, какое не приобретают чтением или развратом. Это было знание состава вещей.

Ее звали Вера. Имя почти невесомое, данное ей в насмешку над тем, чему надлежало стать ее ремеслом. Вера Николаевна. В этом отчестве уже брезжил распад. Николаевна — дочь человека, видевшего в ней опечатку, генетический сбой, завернутый в батист. Мать ее, напротив, любила исступленно, той захлебывающейся любовью, что душит прежде, чем накормит. От матери осталась привычка теребить край рукава, пока нитки не поползут, и зябнуть в самый полдень.

Поезд несся в тоннеле, и в черном стекле отражался салон: желтые поручни, глянцевые затылки пассажиров, чья-то рука с аляповатым перстнем, и она сама — неподвижная, словно вбитая в сиденье.

Она думала о Глебе Романовиче. Эта мысль явилась без спроса, как является запах гари, когда где-то в доме уже занимается пламя.

Глеб Романович Вальц, приват-доцент несуществующей ныне кафедры, знаток герменевтики и, поговаривали, хиромант-любитель, впервые заговорил с ней на семинаре, посвященном природе самозванства. Он стоял у окна, за которым шел мартовский дождь вместе со снегом, и говорил о Лжедмитрии так, будто тот приходился ему кузеном. В его голосе был особый регистр — модуляция, превращавшая исторический анекдот в уголовное дело, возбужденное лично против каждого из сидящих в аудитории.

— Самозванец, — ронял он, не глядя в конспект, — это не тот, кто присвоил чужое имя. Это тот, кто первым понял, что имя — всего лишь петля, затянутая на горле сущности. Маска прирастает к костям, вот в чем ужас. И однажды, попытавшись ее снять, вы стаскиваете вместе с ней собственное лицо.

Тогда Вера засмеялась. Смех получился некрасивым, она тут же прикрыла рот ладонью, но Глеб Романович уже повернул голову в ее сторону, и взгляд его, серо-стальной, вонзился в нее, как вонзается в пробу химический реагент, выявляя скрытый состав.

После лекции он сам подошел к ней. Остановился чуть ближе, чем позволяло приличие, так что она уловила запах одеколона.

— Вам смешно, Вера Николаевна, — сказал он, и слово «смешно» прозвучало как диагноз. — Это оттого, что вы носите свою оболочку, как плохо подогнанный протез. Хромаете душевно. Приходите завтра в лабораторию. Будет опыт. Вам понравится.

Она пришла.

Лаборатория помещалась в цокольном этаже старого здания физического факультета. На длинном столе, покрытом черным пластиком, были разложены пинцеты, предметные стекла и медная катушка, опутанная проволокой. Глеб Романович, облаченный в синий халат, возился с осциллографом. Зеленая точка бегала по экрану, выписывая синусоиды, похожие на горбы верблюда.

— Присаживайтесь, — бросил он. — Рукав закатайте. До локтя. Выше не надо. Пока.

Она повиновалась. Он приладил к ее запястью два электрода, холодных, как пятаки, и щелкнул тумблером. Внутри что-то тонко запело.

— Мы исследуем кожно-гальваническую реакцию, — сказал Вальц. — Электрическое сопротивление кожи меняется в зависимости от волевого усилия и аффекта. Ложь, желание, страх — все оставляет на коже волну. Кожа не врет. Тело — единственный честный свидетель.

Он выключил верхний свет, оставив лишь настольную лампу. Зеленая точка металась, как пойманная муха.

— Сейчас я буду задавать вопросы, — его голос звучал теперь откуда-то из-за спины. — Отвечайте без промедления. Лучше — молча. Прибор считает и без слов.

Вера сглотнула.

— Первый вопрос, — начал он. — Как вас зовут?

Игла прибора дернулась едва заметно.

— Вера, — сказала она.

— Ложь, — отрезал Вальц. — Назовите свое настоящее имя. То, которым вы назвали себя во сне в возрасте четырех лет.

Она запнулась. В горле встал ком. Откуда-то из глубин памяти, затянутой тиной и детским стыдом, всплыло странное сочетание звуков — не то звериное, не то ангельское.

— Сэла, — выдохнула она. Игла прыгнула и замерла, выпрямившись, как столб.

— Вот так-то, — прошептал Вальц. — Сэла. На одном из глоссолалических наречий это значит «оступающаяся». Или «та, что идет по краю». Вы чувствуете этот край, Вера Николаевна? Чувствуете, как галька осыпается под вашими подошвами?

Он вышел из тени. Лицо его было бесстрастно, как у врача, сообщающего о неизлечимой, но не смертельной болезни.

— Я устрою вам встречу, — сказал он. — С тем, кто обитает на дне вашей кожно-гальванической реакции. Ждите сигнала.

Сигнал поступил через три дня. Ни записки, ни звонка. Просто, проснувшись среди ночи от ощущения, что на грудь ей положили ледяную подкову, Вера поняла: нужно ехать. Она оделась механически, как автомат, и вышла на улицу, где морозная изморозь сделала асфальт похожим на слюду.

Встреча была назначена в заброшенном доходном доме на Пресне. Поднимаясь по лестнице, ступени которой скрипели под каждым шагом, она думала о том, что страха нет. Есть только чудовищное, звериное любопытство. Ей хотелось увидеть то, что прячется за ширмой гальванической реакции. То, что Вальц называл «базовой константой».

В комнате горела керосиновая лампа. У окна, спиной к вошедшей, стоял человек. Широкие плечи, короткая бычья шея, на загривке — глубокая складка. Когда он обернулся, Вера увидела лицо — простецкое, даже приятное, с рыжеватыми усами и добродушной складкой у рта. Только глаза — разные. Один карий, другой голубой, как у сибирской лайки.

— Ну, здравствуй, Сэла, — произнес он, и голос его был обволакивающим, словно бы состоящим из множества оттенков, как марочное вино. — Давно я за тобой наблюдаю. Еще с той поры, как ты в пять лет решила утопиться в пруду, но вытащила на берег не себя, а утку. Помнишь?

Вера помнила. Утка была тяжелой, мокрой и пахла тиной. Глаз у нее был оранжевый.

Человек опустился на корточки, словно собираясь играть с ребенком. Лампа чадила, и тени на стене ходили ходуном.

— Я к тебе с предложением, — сказал он. — Ты всю жизнь хромаешь между двумя мирами. В том мире, — он мотнул головой в окно, где горели электрические огни, — ты навсегда останешься изломанной женщиной-уродкой, как выразился один поэт. В этом же, — он провел ладонью по грязному полу, — ты можешь стать советницей. Визионеркой. Той, что видит состав вещей.

— Что взамен? — спросила Вера. Голос ее не дрожал.

— Взамен? — он улыбнулся, и в улыбке его сверкнуло что-то рыбье, лишенное слюны. — Ничего особенного. Просто твоя душа останется здесь, при мне. Не бойся. Это не больно. Это как удалить зуб мудрости под наркозом. Пустой, бесполезный, причиняющий боль отросток.

Она подумала о матери. О том, как та, умирая в больничной палате, пыталась нашарить на тумбочке стакан с водой и все повторяла: «Вера, Верочка, Веруня». И о том, что в этом повторении имени было заклинание, попытка удержать то, что уже рассыпалось.

— Нет, — сказала она твердо. — Я останусь с пустым, бесполезным отростком.

Человек с разноцветными глазами выпрямился. Лицо его не изменилось, но воздух в комнате стал плотным, как перед грозой.

— Глупая, — произнес он почти ласково. — Ты думаешь, тебя спросят?

И тогда Вера Николаевна Сэла, изломанная женщина-уродка, дочь своего отца и своей матери, сделала нечто неожиданное. Она расхохоталась. Тем самым лающим, резким смехом, который когда-то привлек внимание приват-доцента Вальца. Смехом, идущим не от веселья, а от избытка горечи, нашедшей единственный выход.

— Спрашивали, — сказала она, давясь этим смехом. — Всю жизнь спрашивали. А я отвечала «да». Да, я кривая. Да, у меня душа мертва. Да, я сломанная кукла. И знаешь что? Это все правда. Но в этой правде есть зазор. Щелка, сквозь которую просачивается свет. И этот свет — мой. Не твой. Не Вальца. Не господа бога. Мой.

Она повернулась и пошла к выходу. На улице мороз усилился.

Тот, с разными глазами, не гнался за ней. Да и какой смысл? Его власть кончалась ровно там, где кончалось ее согласие на эту власть.

Она свернула в слепой закоулок и остановилась у фонарного столба. В кармане пальто нащупала мятую пачку сигарет, зажигалку. Огонек заплясал на ветру, высветив на мгновение ладонь — с тонким запястьем и ногтями. Она затянулась. Подумала о том, что Вальц теперь будет избегать ее. Что на следующем семинаре она сядет за последнюю парту и будет рисовать в блокноте уток с оранжевыми глазами.

Она бросила окурок в снег. Он погас. И в ночной тишине ей почудился дальний, едва различимый звук — словно кто-то бил в ладоши, медленно и ритмично, отбивая такт неведомой ей, но отныне и навеки собственной поступи.

# Суд над судьёй

В тот год, когда река Молна вышла из берегов и затопила нижние кварталы, в наш город прибыл человек, которого никто не ждал. Точнее — его ждали все, но каждый ждал кого-то другого. Городской совет ждал чиновника, способного навести порядок в делах, запутанных после смерти старого бургомистра. Торговцы с набережной ждали справедливого арбитра, который положит конец тяжбе между гильдией красильщиков и гильдией суконщиков, длившейся уже одиннадцать лет. Вдовы и сироты — а их после эпидемии оспы развелось в городе немыслимо — ждали заступника, который пересмотрит завещания, составленные продажным нотариусом Кранахом. Каждый ждал своего спасителя, и потому, когда осенним вечером через восточные ворота въехала повозка, запряжённая двумя бурыми лошадьми, и из неё вышел человек средних лет в чёрном дорожном платье, с кожаным портфелем, перетянутым медной пряжкой, — город встретил его так, как встречают дождь после засухи: с облегчением, которое ещё не успело стать благодарностью.

Его звали Тобиас Кеттнер, и он прибыл с полномочиями от канцелярии курфюрста. Бумаги были безупречны — тяжёлая печать на шнуре из кручёного шёлка, латинская формула назначения, подпись секретаря, контрассигнация. Он имел право судить, назначать штрафы, заключать под стражу, а в исключительных случаях — выносить смертный приговор. Он был, одним словом, рукой закона, протянутой из столицы в провинцию, в этот неуютный городок, пахнущий горелым салом из коптилен.

Первые месяцы были безупречны. Кеттнер работал методично, почти красиво — как работает хороший часовой механизм, каждая шестерёнка которого знает своё место. Нет, не так. Он работал как человек, который действительно верит в то, что делает. Пересмотрел завещания Кранаха — семнадцать из двадцати трёх оказались подложными. Рассудил тяжбу гильдий — решение было неожиданным, никто не остался полностью доволен, но и обиженных как будто не нашлось, что само по себе было признаком настоящего правосудия. Он обедал в городской таверне, ел то же, что ели все — ячменную похлёбку, варёную репу, изредка мясо, — и платил из собственного кармана. Когда жена кузнеца Хагена принесла ему корзину копчёных угрей в знак благодарности за то, что он вернул ей дом покойного мужа, Кеттнер вежливо отказался. Он сказал: тот, кто судит, не должен быть обязан тем, кого судит. Он сказал это просто, без позы, как говорят о том, что для тебя давно перестало быть принципами и стало привычкой тела, вроде того, как утром встаёшь на правую ногу, а не на левую.

И именно тогда — когда город уже привык к нему, когда его шаги узнавали раньше, чем его лицо, — именно тогда что-то начало меняться.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.